P2
K 88

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

ЧУЖБИННОЕ

прзоц
Р2
К88

ЮРИЙ
КУБЛАНОВСКИЙ

ЧУЖБИННОЕ

стихотворения

82002-1

Ярославская городская
централизованная система
библиотек

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1993

ББК 84Р7 – 5
К88

Художник *Сергей Семенов*

Издание осуществлено совместно
с **Агентством "ПАН"**

Кублановский Ю.М.
К88 Чужбинное: Книга стихотворений.— М.: Моск.рабочий. 1993.— 287 с.

В 1982 году широко известный в тогдашнем самиздате поэт Юрий Кублановский за независимое от идеологии творчество был поставлен госбезопасностью перед выбором: отъезд или лагерь.

В эмиграции у Кублановского вышло четыре сборника лирики – в США и Париже.

В 1991 году поэт вернулся в Россию.

«Чужбинное» – первая обширная книга стихов Юрия Кублановского на родине. По словам А.И.Солженицына, его поэзии свойственны «упругость стиха, смелость метафор, живейшее ощущение русского языка, интимная сродненность с историей и неуходящее ощущение Бога над нами».

К $\frac{4702010202-155}{М172(03)-93}$ 132—93 ББК 84Р7—5

ISBN 5-239-01415 - 9

© Ю. Кублановский, 1993

ПРОЛОГ

ПЕСНИ ВЕНСКОГО КАРАНТИНА

ПАМЯТИ ХОДАСЕВИЧА

Рыжий сеттер, листвою шурша
по-охотничьи благоговейно,
шелковистую холку ерша
дуновеньем то с Майна, то с Рейна,
— пробегает меж бурых стволов...

Словно жертвенник бабьего лета,
палых листьев колышется ком.
И трясутся доспехи Макбета
(я пошёл — и наказан за это)
в «синема» за ближайшим углом,
где трамвай тормозит, не иначе,
и булыжник влажнеет с торца,
словно это заливисто плачет
под кухонною сталью овца.

И из горла утихшего скачет,
обжигая, струя багреца.

...А какая ещё образина
лапки нежные трёт у окна,
густорыжая прядей лавина
(охра, хна да болотная тина)
— закрывает от глаз дотемна.

Октябрь 1982

* * *

Рыжий сеттер меж бурых стволов
пробегает, листвою шурша.
В рыжизне своей даже лилов,
он за дичью нырнуть бы готов,
да уж больно она хороша:
утки, селезни, лебедь с своей
шелкокрылой подругой... А мне
вспоминать до скончания дней
лишь пиявку на илистом дне
с камышами сухими над ней.

Из Европы Тургенев Иван,
было, ездил охотиться к н а м.
А теперь только водку в карман,
да пугну воробьёв, как поддам,
чтоб кончали пищать, дураки.
Если в жилах живая вода
вроде той, что из Леты-реки,
разве долог наш путь — в никуда?

Потому, знать, теперь и пора
не ворон по кладбищам считать,
а бессонно с утра до утра
сказки Венского леса читать,
где по гладким осенним прудам
проплывает несметная дичь...
И всю жизнь по чужим городам
свою память — где резать, где стричь.

9.XII. 1982

К ГЕРМАНИИ

Мерещится Мюнхен бесслёзный,
дождями промытый до дна,
весь мрамор его кровеносный,
где каждая жила полна
обманчивой жизнью без цели,
ну разве среди позолот
разросшейся вширь капители
какой воробьишка всплакнёт.

Мерещится мрамор германский,
вражда у левачки в глазах,
и череп её арестантский,
и с плеч соскользающий — ах,
платок с золотой канителью.
Германия, что мне твоя
земля, рассечённая с целью
коварной — на два бытия?

Видать, из пригубленной чаши
есть таинство в винах льняных,
раз лучшие мальчики наши,
хмелея от лекций твоих,
в дремучие рощи сырые
и черную степь без конца
везли не карманы пустые
— разбитые в спешке сердца.

Зимою, когда не отличен
от барина нищий вотще
и ветер, беззвучен и зычен,
высвистывал дырку в хряще,
сколь метко Всемирного Духа
вливала ты нам белену
в от холода красное ухо
по капле — одной за одну!

...В невиданной каске блестящей,
с махрой в ницшеанских усах,
у самого сердца стоящей,
считай, на почётных часах,
зачем тебе было, могучей,
трезорку дразнить в конуре
— чтоб ныне с проводкой колючей
лежать в рассечённом нутре?

17.XII.1982

* * *

H. G.

В ветхой трубке дышит невозбранно
знобкой синевой
голос твой, заведомо желанный,
нежно горловой,
— то проснётся, то задремлет снова,
подлетев ко мне.
Я хочу яснее слышать с л о в о
в общей каркотне.

На моем лице остывшем — утром
видится впотьмах
вот уже два месяца как будто
самый серый прах.
И одна бессмыслица в коробке
черепной, увы.
Сносит ветром после поллитровки
кепку
с головы.

Не даётся мне в скрипучем кресле
заданный урок.

Потому и вздрагиваю — если
слышу вдруг звонок,
столь настойчивый, непостоянный,
а за ним — родной
голос твой,
заведомо желанный,
впрок закланный мной!

7.XII.1982

* * *

Сизые тени пихт
спят на лугу Кускова.
Вёсельный скрип затих
и заработал снова,
чтобы уйти в песок
у островка сыпучий.
Серую ткань рассёк
меч серебра под тучей

и заиграл в окне.
Всплеск и шуршащий гравий
шепчут о том, что мне
впредь не читать заглавий
в пыльных шкапах дворца
и не скользить из залы,
где оплела гнильца
топких зеркал овалы

и захватила в плен
тени, белее риса,
минимум трех Елен
и одного Париса.
...На баснословных мест
темечко став пятою,
долго не надоест
мне им махать рукою.

9.XII.1982

* * *

Неужели однажды одна
ты поедешь когда-нибудь в Крым?
Утром древнее злато со дна
там всплывает под солнцем седым.

Но недаром стаканчик вина
виноградником пахнет больным.

Нет, о том и мечтать перестань!
Не гулять тебе там налегке,
где, однажды заехав в Тамань,
Михаил охромел в челноке.

Духарись, моя тень, горлопань
в глинобитном ночном тупике!

А когда ты пойдёшь винтовой
узкой улочкой Ялты опять,
будет ветвь над твоей головой
непотребная пальма качать.

И курортник в футболке с женой
вдруг начнут друг на друга кричать.

Нет — не надо ни дрока, ни роз,
ни смывающей гальку волны,
фиолетовой — там, где Форос,
и жемчужной — в начале весны.

Я могу перейти от угроз
прямо в самые крепкие сны!

9.XII.1982

ПО МОТИВАМ ВИСКОНТИ

В. А.

1

Меж патиновых ветвей
ив плакучих в день октябрьский
горько кормит лебедей
Людвиг избранный... Баварский,
опуская руку за
всякой всячиной в корзине.
Вдруг во весь экран — ГЛАЗА,
обращённые к кузине
и отбившие багрец
у изнанки горностая.
...Но уже во рту свинец.
И арийский жеребец,
своего патрона зная,
раздевается при нём
и плывёт зазывным кролем
— словно полон водоём
бьющим в ноздри алкоголем.

2

Я помню, как Людвиг с кузиной
в заснеженной роще гулял,
как сутками с русым детиной
свою красоту пропивал,
и начал, ни много ни мало,
дворец городить за дворцом,
за залой отделывать залу.
...Как ты молодела лицом
и грудью мне к локтю прижалась,
когда мы Арбатом брели.
И красная тряпка качалась
от нас в безопасной дали.

10.XII.1982

* * *

В гордости, слабости, страхе и пламени,
жгущем в мороз заодно,
чем вы там тешитесь? Нашего знамени
ветхо ль рядно?
Боже, как вспомню углы непотребные,
кволую пьяную дичь,
стены изборские, волны целебные
— хочется это постичь.
Крепче ли душит змею патриотики
медный титан на коне?
...Тут все соблазны — в жестокостях готики,
этого года вине
да молодеющем сердце — а надо ли
эдак ему молодеть?
Дым из Отечества с придыхом падали
душит сердечную клеть
и не дает доосмыслить значение
крепких, впервой, башмаков,
в стрельчатой мгле золотое свечение,
сутолку без кулаков
и телефон с запыхавшимся голосом,
нежным — в плотину годам.

...Где только копоть садится на волосы,
веки и бороды вам,
— ибо не дело, что строки затырены
свежие под лежаки,
все ли вороны над храмами вскрылены,
все ли мостки судьбоносно подпилены,
всё ли о'кей, мужики?
Слышу и ропот, и меди бренчание,
экие — полно серчать.
Буду, что старая нянька, молчания
чёрную зыбку качать.

10.XII.1982

ТВОЕ МОЛЧАНИЕ...

И. Ю.

I

Твоё молчание... оно, что правый клирос,
        но в будний день.
Мерещится, я с ним и вырос
        в соседстве деревень
и рощ обтрёпанных, ссыпающих багрянец
        с сырых ветвей,
где стала пахота тверда, как сланец,
        и вместе с ней
сердца затихшие, податливей с испугу.
        Бесслёзные глаза,
равнооткрытые и недругу и другу,
        разжалобить нельзя.

Твое молчание...оно подобно снегу,
        сравнявшему за час
холмы с болотами. Лишь ночь дала ночлегу
        в окно алмаз,
погасший сразу же. Должно быть, там закрыли
        в печи угар
и пшёнку кислую, оставшиеся в силе
        ещё с татар.

Я этой целиной, наполненной до края,
решил вперёд брести,
твердя известное, как некий, дорогая,
одряхший Филипок, что, в школу поспешая,
всегда в пути.

II

Ты вся уже там — в немом
тёмном пустом массиве
жизни, хоть мне о том
странно помыслить вживе.
Что там? Листва, трава,
голый отлив прилавка,
тряпки, на них — слова,
каждое, как удавка,
в дымке оконных рам.
Бо́льшая половина
жизни осталась там.
Что ты молчишь, Ирина?

Не голубой билет
Федору и Ивану
я возвращаю, нет.
А на висок тирану
алчно гляжу без зла,
мерюсь к его затылку,
вдруг о ребро стола
вздумав разбить бутылку.

.....

...Помню тебя, прости,
с мокрою головою,
то ли с снежком в горсти,
то ли в перстах с айвою.
Так не прячь, не таи
слово своё и тело.
Слышишь, они — мои,
каждое нежно грело.

III

Сжимая жалюзи, за старый шелковистый
тяну шнурок — чудно́,
и вглядываюсь в дождь зернистый:
вдруг почтальон на жестяное дно
спокойно бросит сумрачный конвертик
из диких мест,
где вкоренённые в разграбленные тверди
все удлиняются сбивающие жерди
кресты с небес.
Иль думаешь, что ничего не скажешь
мне нового? — прости —
а только разве по губам помажешь
калёным семечком базарным в саже
из маленькой горсти.
... Что время вытекло, как в трещину асфальта
из бочки молоко?
Неправда, милая! Ещё не гаснет смальта
и медь в Зачатьевском... Единственное — жаль то,
что снова далеко
такая знобкая таинственная полночь
и самый Крестный ход...
Ледка подтаявшего звёздчатая щёлочь.
И милицейская маячащая сволочь,

теснящая народ
туда, где пиками щетинилась ограда
под рёбра пацанам... Скорее напиши
чего-то верное... Иного и не надо
— из осаждённого посада
твоей души.

8.XII.1982

* * *

Я не понимаю, о чём
сизарь-европеец лопочет
и ветер шуршит за плечом...
Пусть жизнь моя дышит, где хочет!

От спячки встряхнусь, молодясь,
один на зелёной скамейке,
подброшу в ладони, смеясь,
всю сдачу со здешней копейки.

Тут, впрочем, зима не страшна:
не зябнут ни кисти, ни шея.
Хоть издали греет мошна
блестящих дельцов ротозея.

...Когда же нахлынет апрель
и твердо почувствую — крышка,
я милой в Судак, в Коктебель
чиркну ненароком письмишко:

«Где ропщет прибой, зеленя
знакомого камня породу,
скользни там одна, без меня,
в слоистую беглую воду».

А чтоб не всучил почтальон
ответ, отговорок не слыша,
я стану нырять, как тритон,
в глубоком тумане Парижа.

Октябрь 1982

* * *

Смерть, трепет естества и страх!

Державин

Из тьмы тутаевской, египетского плена
я выскользнул зачем?
Мне все равно, к у д а мои ведут колена,
раз сердцем чувствую — что тщетно билась пена
о твердь небесных тем,
и перилась, и разлеталась,
не зная почему.
Единственное уцелело — жалость,
и та не долее под сердцем удержалась,
чем белые в Крыму.

Спиной к грядущему с невидимого краю
присядь на солнышке, насыпь в лоскут махры...
Пусть чайки вольные вверху визгливо бают
и ветер тянет за вихры,
учительствуя безнадежно,
захлёбываясь вдалеке...
Мне б в камни — всем лицом. Постыдно, если нежно
в ночи щеке.

9.XII.1982

1

* * *

Сын, мужавший за семью замками
от моих речей,
все равно когда-нибудь глазами,
честный книгочей,
пробежишь хоть по диагонали
эти горбыли —
жидкие парижские скрижали
бати на мели,
писанные, точно бороною,
шедшей под углом,
кто там вспомнит — под какой звездою
за каким столом...

Но когда полакомит пороша
горку и межу,
высохшее сердце потревожа,
— землю, где лежу,
и упруго в крест ударит ветер,
я пойму, что т а к
ты впервой увидел и приветил
мой словесный знак.
Словно ветка выделила иней
из себя самой.
Потому, чем дольше — тем чужбинней
праху под сырой.

13.X.1983

* * *

Королевич в мундирчике синем
трость под мышкой беспечно зажал
в ненадежной версальской твердыне,
между тем как уже дребезжал
в недалеком Париже безбожник,
убеждая, что ждать невтерпёж,
и хвалил адвокату чертёжник
механический рубящий нож.

Бедный мальчик Людовик Людвеич,
как ужасно красно в зеркалах!
Не твоё ремесло, королевич,
быть подручным в сапожных делах,
дурно пахнущих луковым супом,
спину горбя и Богу грубя.
Ничего, — за последним уступом
я ещё постою за тебя.

15.X.1983

* * *

1

Старый форт ежевикой
за откосом откос
сладкоколкой и дикой
непроглядно зарос.
Бастионы и флеши
над движеньем волны,
амбразуры и бреши
обречённым верны.

Мы — изменники, дети,
побеждённая знать,
нам несладко на свете
ежевику клевать
в самой тёмной аллее
павшей раз навсегда
цитадели Вандеи,
а казалось — тверда.

Где-то нашей отваге,
может быть, вопреки
пахнут порохом стяги,
кипарисом древки
и железом граница.

Как далёко сейчас
в алом пепле столица,
упустившая нас!

На кремнистой ступени,
перетёртой ходьбой,
ежевичные тени
перешли в голубой
и иссякший бесследно
в позднем мареве дня,
— где уже не заметно
ни тебя, ни меня.

Сентябрь 1983

2

Парой парусных прочных
леонардовых крыл
обзаводится лётчик.
И каштан обронил
прямо в лунку ступени
из кремнистых пород
под зелёные тени
свой каштановый плод.

В маслянистом размыве
на его скорлупе,
в уходящем обрыве
из-под ног по тропе
и в парящем над нами
на крылах летуне
(схожих с теми, что в раме
на музейной стене

вкрест раскинули оси,
образуя каркас)

— европейская осень,
пощадившая нас!
Кладовые отваги:
платяной кипарис,
в задубевшие стяги
наподобие риз

втёрты крапины дуста,
что калужский снежок.
И мерещится — густо
затрубивший рожок.
Так Россия прощала
орды галлов-детей.
А теперь обнищала
так, что плачем о ней.

Октябрь 1983

3

В поздно жухнущей пойме
обмелевшей реки,
где топорщили проймы
и тупили клинки
бородатые дяди,
дыбя потных коней
и заманчиво глядя
из-под шляпных полей,

сладко дремлют поляны.
Только тут или там
барабанят каштаны
по кремнистым тропам.
И в подвал под карнизом,
где пропах реквизит
платяным кипарисом,
тоже солнце сквозит.

Но не шёлком, не фетром
снизу тянет сейчас,
а — рябиной под ветром,
поминающим нас
на скрещенье смоленских
и калужских путей,
нас — своих, деревенских,
заслуживших плетей.

Замерзала пехота.
Опершись на забор,
колпаком санкюлота
ей махал гувернер.
Нас тасует как хочет
Дух, пока Азраил
о твердыню не сточит
леонардовых крыл.

Октябрь 1983

* * *

...Не русский снежок заглушает горниста
и снегом заносит по грудь, —
сама гильотина пророческим свистом
напутствует головы в путь.
Не листик берёзы приклеился в бане
к руке с деревянным ковшом, —
зарвавшийся вождь в полотняном тюрбане
погиб на посту нагишом.

...Бывает, над рощами эхо-подранок
зазывно умножится так,
что *нашим* становится впрямь не до санок,
говения и кулебяк.
Лишь прадед на печке натянет овчину,
припомнив ещё Пугача,
да правнук в потёмках прихватит дубину,
чтоб хряпнуть пришельца с плеча.

...Посыпли-ка солью на старые раны,
взгляни свысока на Париж.
Два века мы лезли в чужие карманы,
пока не нащупали шиш.
Чем горше вино — тем похмелие слаще.
Чем злей — тем смиреннее речь.
В готической полурастительной чаще
попробуй себя уберечь.

12.X.1983

* * *

Где каштаны неохватны в струпьях,
век толки — а всё не раздробишь
твой орешек в европейской ступе,
с козырьками красными Париж!

...Далеко за псковским буераком,
затяжной метели невпрогляд
я вдогонку, помнится, оплакал
каждый камень в кладке баррикад

и беспечный завтрак на лужайке,
но теперь по праву голытьбы
сам примкнул к неблаговидной стайке
отрешённых от твоей судьбы,

лишь чуток помешкав возле стойки,
как последний честный графоман,
порешивший с шапочной попойки
не вернуться, вывернув карман.

15.X.1983

* * *

Ростовщичьи кленовые грабки
зажимают парижскую мглу,
и навряд ли доходны и зябки
сны взлохмаченных астр на углу...
Ночью в лаковом логове чарку
исчерпав на глубоком хлебке,
наконец подношу зажигалку
настоящую — к сонной строке

и сквозь жёлтое марево вижу,
как ершится неоновый ёж.
И люблю и вдвойне ненавижу
неродной европейский грабеж.
И кофейная мгла полотенца
неизменно сливается с той,
с коей вы Робеспьера — младенца
и убийцу — везли на убой.

Как не вспомнить родную берлогу,
где давно начала плесневеть
на тиране, закутанном в тогу,
бессловесная русская медь.
Чем глядеть, как убойной десницей
указует он жертву орлам,
лучше б впрямь хитроумной лисицей
обернуться в курятнике нам.

17.X.1983

БАРКИ

Ветхие барки на вечном приколе
возле пожухших ракит
схожие с волжскими...
Только на воле
всякий буксир басовит.
И забываешь родные фистулы
у пристаней вполукруг,
сведшие чуть не чувашские скулы
нам по-черемушьи вдруг.

Лишь осыпаются в тайные тропы,
что в котловину с высот,
розово-желтые
гребни Европы
у Люксембургских ворот
и, как родильные споры, роится
прахообразная ржа,

где на углу с сигареткой томится
в чёрных чулках госпожа.

Ноябрь 1983

* * *

Над Шатле, куда по осени
в крысий карцер без окон
на солому грозно бросили
страстотерпицу Манон,
вырастает отформованный
в преисподней сгоряча
облак — током нашпигованный
херувимского луча.

Стушевавшаяся выскочка
крови малоголубой,
перламутровая кисточка
потрудилась над тобой
и кисейными обносками.
Гулкобрусчатый Париж
с гильотинными подмостками,
с одалисками-подростками
целомудрен и бесстыж.

.....

Может статься, неоплатную
истощённую твою
ласку встречную не жадную
всё по новой узнаю,
— что мерещусь чаще прежнего
неопознанным с лица,
залосневшего, медвежьего,
разом — зверя и ловца.

Ноябрь 1984

ДВЕ ОТКРЫТКИ

Если дата слилась с грязнотцой,
закорючки причуда
призывает: «родной!»,
значит, точно *оттуда*,
где скрипящая тишь
под игольчатым глянцем,
ты по новой блазнишь
приходить самозванцем.

Буду ль впредь под чужим
листопадом, ссыпаемым в тропы,
ожидать, недвижим,
как покатятся камни Европы,
или, каждую пядь
отдавая сначала без толку,
попытаться опять
наступать на Москву-хлебосолку?

...Я открытку найду:
окаймившую сумеречь лога
золотую гряду,
саламандру и единорога.
Чтобы цензор ослеп,
впопыхах обжигались почтарки,
между гибельных скреп
пропуская такие подарки.

23.XI.1983

ПАМЯТИ ДРУГА

Под заснеженной землей
пусть горит моё окошко.

Л. Г.

1

Весть, как могла, добиралась сама:
стала просторней родная тюрьма.
Перекрестясь, басурман
брал недотраченный молью треух,
вострил под сальными космами слух,
прятал тетради в карман
и — к электричке.

На даче одна
заросль шаров золотых зелена,
держится там до конца.
Ветер заглядывает в дымоход,
тоже нашёлся ещё доброхот,
думает, встретил глупца...

Мною нарочно потерянный рай:
хлеб под рогожей, под толем сарай.
Так бы и умер, прибрав
комнату к празднику, землю к рукам
и подоткнув к занемевшим бокам
драповый влажный рукав.

24 сентября

2

Если поёжиться, встать да пойти,
будет туман зависать на пути
и облепиха встречаться,
вдруг обдавая недавним дождем.
Жизнь — ратоборство,
но толку-то в нем?
Можно бы и побрататься,

друг!
Неужели там, правда, петля?
Или в груди всё затихло, деля
свет на неравные части?
В нашей — ещё не завьюжило. Что ж
стало тебе поджидать невтерпёж
— в нежное умер ненастье?

...В лаковых недрах парижских трущоб
припоминаю убожество, гроб,
чёрный лавсан и рубаху.
Видим и сами — что он недалёк,
твой под холодной землёй огонёк,
и поспешаем без страху.

25 сентября

3

В лаковом мраке парижских трущоб
припоминаю подстриженный чуб,
топ башмака между тропов и стоп
и с залосневшей овчиной тулуп,
— это *читал* поспешивший птенец
так и несбывшейся нашей весны,
не помышляя про скорый конец
путаной яви, похожей на сны.

Сладко ль — с натруженным телом в ночи,
водкой на дне, папироской в зубах?
Скоро и нам протрубят трубачи
судные сборы на небесах!

Скоро приступим чуть не гуртом,
благо в дорогу не надо добра,
прямо к сторожке с открытым окном
старого ключника дядьки Петра.
Ласково ль глянешь на прежних друзей,
Божьих конюшен вольный слуга,
ты — выводя белокрылых коней
на замутнённые солнцем луга?

25 сентября 1983

ПЕЙЗАЖ СОРОКИ

Даше

Олифовая сетка трещин,
    когда под ней
усадебный закат обещан,
    ещё родней.
Стремя варяжскую гондолу,
    подросток крепостной
отводит гладь назад — к приколу
под сенью навесной.
А у другого — из осины
    упругая уда,
чья леса пущена над тиной
    неведомо куда.

И у меня такое было:
    когда-то с кондачка
взахлёст раскручивал грузило,
    плевал на червячка.
Как селезень, на перепаде
сломивший крыльев ось,
я прыгал в лодку на закате,
раскинув руки врозь.
Пропащий час, вместивший сплотку
    таких минут,
что каждая берёт за глотку
    и душит тут.

12.XII.1983

ХИМЕРА

А далеко, на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идёт и ветер дует.

Пушкин

Морщинит фаланги ветвей
ноябрьская непогодь-мга.
Среди истончённых камней
приметная издалека,
как будто победа за ней,
химера щетинит бока.

И впрямь: хоть не выела моль
ещё моего барахла
в России, где крупная соль
на нашу дорогу легла,

— но вот уже год на чужом
могу ль говорить языке,
когда, словно ткань под ножом,
родной от меня вдалеке?

Поднимется в Стиксе вода,
которую не отчерпать,
и только, быть может, тогда
мы сможем друг друга узнать.

Каштаны посыпались на
с зелёно-багряным огнем
жаровню, что ночью видна
и кажется ржавою днём.
Так наша разлука бедна,
хоть жар её ярок притом!

29.XI.1983

СОГЛАСНО ГЕРАЛЬДИКЕ

Куда ни обернусь,
— неизменно с крылом прободённым
примерещится гусь,
хоть охотник в доспехе стотонном
гулок не по-людски,
дашь щелчка — далеко отзовётся:
загремит над Чудским
и на Рейн рикошетом вернётся.

*

И кабанчик, клыкаст,
по бокам отливающий медью,
следом деру задаст,
показавши хвосток междометью
— панславянскому «о!».
Налегке не пугайся, родная:
не расслышит никто,
сколько гласных молчит, подступая.

*

Прорезинен реглан,
до границ не расхищена слава
атлантических стран.
Масса дымная волн величаво
поднимается в рост.
И на скользкую палубу либо
покоробленный холст
— залетает кровавая рыба.

*

И повсюду — куда ни взгляни:
на резные ли стены с опаской,
в заострённые окна-огни,
— завлекают оскаленной пасткой
саламандры. И надо ж в гербе
завести их то порознь, то в паре,
задремавших на камне-судьбе
и юлящих у глаз при пожаре.

*

Иглы грозные вдруг
шутника дикобраза,
нас беря на испуг,
поднялись до отказа:
знать, задумал тетерь
припугнуть из резного сусека.
Но бессмысленный зверь
всё равно не страшней человека.

*

Суждено умереть
прямо в каменнострельчатой вязи.
Но секирой медведь
замахнувшись зовёт восвояси:
"Приходи — разопьём".
...Чтобы где-нибудь около Волги
прорастая репьём,
исключить о себе кривотолки.

1983

* * *

I

В заросшем форту ежевикою спелой,
с брусчаткою гулкой на дне,
в успенье — меж розами Алой и Белой,
ребята, Европа в огне!
— схватившем оленьи рогатые шпили,
на стенах резную траву...
И с винной пропиткой кровавые были
мерещатся вдруг наяву.

Наивная дева и впрямь ухватила
руками быка за рога,
когда ледяную пучину штормило,
навстречу несло облака.

Европа, Европа, ты спишь без подушек,
покорная женской судьбе.
И только на севере мёртвые души
хранят ещё верность тебе.
Как будто трубит возрожденец-вельможа,
привставший на мерине в рост,
калужские дали дразня и тревожа
уж тем, что горазд и непрост.

10.X.1983

II

Успенье — меж розами Алой и Белой,
пока высекал вороной,
над балкою перелетев обгорелой,
искрý из кремня мостовой.
Нам жалко тебя, припозднившийся всадник
с разбухшим раструбом ботфорт,
ты зря переспелый давил виноградник,
перчаткой сгребал натюрморт,

где равно роскошны гранат и капуста.
Лишь кто-то на северном дне
зовет, хоть вокруг уже тёмно и пусто:
ребята, Европа в огне!

Тебе ли, Европа, не знать поименно
безбожных своих сыновей?
Недаром они тебя ждали влюблённо
среди помрачённых степей...
Плетнями повалятся в жижу границы.
И твой обветшалый покров
еще поплывёт с торжеством плащаницы
поверх присмиревших голов.

9.X.1983

* * *

Заменяли Всевышнего ересью,
доказуемой с пеной у рта,
Робеспьера с подвязанной челюстью
на телеге везли, что шута,
за два века полмира профукали,
потеряли на севере ять,
кое-как раскусили, расчухали,
поправели, заелись опять...
Лишь в ночи, в чьи расщелины узкие
над снегами запаяна сталь,
тёплой водкою мальчики русские
поминают мадам де Ламбаль.

12.X.1983

* * *

Мне страшно от мысли,
что ты остаёшься одна.
Прости — но исчисли
все образы вещего сна
двух выходцев с Истры,
где копнами ранних седин
ракиты нависли
над цвелью поместных трясин.

В чужбинном забое
при чахлом побеге свечи
про наше родное
ещё безуспешней шепчи.
Нет, нет, он не умер,
но где-то на линии есть
блуждающий зуммер,
твою добывающий весть.

...И вдруг наступает
давно предвещаемый час.
И жизнь разнимает
и нас отнимает у нас.
Ещё на рассвете
мерещимся полутайком,
богемные *дети*
райка — за повисшим дымком

1977, 1983

II

* * *

Ведьму ль замуж выдают?

Пушкин

Камлания вьюги
над вьюшкой печной,
чьи стоны упруги
в прозябке ночной.
Ветвистые вешки
на санном пути
расставлены в спешке.
И против шерсти
голодного волка
не гладь в январе,
моя богомолка
в лесном серебре.

Бесследно огромной
родной стороне —
как горница тёмной,
когда по весне
молодка-царица
над люлькой с птенцом,
подобная птице
на лапке с кольцом,
меняя подгузник,
склонится — и в крик,
— лишь Бог и союзник,
Он равно велик.

13.X.1983

ПЛАТОК

Возьми платок — вспомянешь!

Б.

1

Неизбежное закланье
неизбывных дней
— словно противостоянье
ёлочных огней
иль отёк аквамарина
на большом листе,
чья ржавеет сердцевина,
что клепа в кресте.

Слышу, слышу зов губерний
над ершистым льдом,
вижу зарослями терний
ослеплённый дом
и над ними масок львиных
подлинный оскал.
С крапом лапок воробьиных
снежный перевал.

Кто с того вернется света,
пусть доверит мне:
чем сроднимо *то* — и это
белое в огне
притяженье зимних улиц,
где чужой каток
и не греет детских скулец
маменькин платок.

24 января

2

Эй, под елями лохмастыми
теневой аквамарин,
изнутри с рубцами красными
лучевыми апельсин,
— мне окликнуть вас с альпийского
удаётся гребешка
в смеси ветра италийского
и арийского душка.

Пригодился б тут вспомянутый,
увлажнённый ртом чуток,
в пояснице перетянутый,
щеку колющий платок,
чье рядно в запас уволено
после выслуги годин,
верный друг Аники-воина
из суворовских дружин.

Пересохли, перетаяли
санный след, желанный плод,
где беспечно шавки лаяли
на идущий с громом лед.
...Преломив, из крови вынула
жизнь отрезанный ломоть,
прежде чем к плечам прикинула
крест — готовная щепоть.

26 января 1984

* * *

А. Солженицыну

Клеймённый сорок седьмым,
и посейчас глотаю
тот же взвихренный дым,
стелющийся по краю
родины и тылам,
точно еще под током
и паутина там
в красном углу убогом.

Лакомо мандарин
пах в января начале.
Чайки с прибрежных льдин
наперебой кричали:
— Не оступись! — мальцу
в валенках до коленок.
А через улицу
прямо от нас — застенок.

Но ничего не знал
я, оседлав салазки.
Ветер в ушах свистал
вместо отцовской ласки.
А по путям вдали
в зоны,
лязгая, тихо шли
тёмные эшелоны.

Словно в мороз миры,
видел я блеск пугливый
ёлочной мишуры
и засыпал счастливый.
То-то теперь в моей
памяти, сердце, жилах
вымершие целей,
чем костяки в могилах.

1989

В АЛЬПАХ

Стансы

Н. Б.

Мне хочется снова с тобой
уйти за альпийскую складку,
за гребень её вихревой
— незнамо с какого устатку.
Чтоб вместе с лазурью вверху
окрест обрывалась твердыня
и фалды на рыбьем меху
нам ветер трепал, парусиня.

Чужие, — мы дышим чужим
дыханием роскоши вьюжной.
Наш собственный двор недвижим
с продажей и куплей подушной
всего-то в каких-нибудь двух
— внушающих смертным зевоту
виденьем крыла на плаву —
часах самолётного лёту.

Тебе, чье отро́чество там,
подобно жемчужине в рыбе,
вотще недоступное нам,
осталось на тульском отшибе,
таясь, не скатать волоски
протертых стежков рукавицы,
спугнувшей со снежной доски
тень послевоенной синицы.

Все тридцать пять прожитых зим
под космосом в блещущих пробах
уже отпевал серафим,
когда проводила на скобах
подбитая войлоком дверь
долой — из родного зимовья,
где чьим-то затылком теперь
примято мое изголовье.

Легко ли туда, торопясь,
вернуться теперь бестелесным
и верящим во Ипостась
с Её одиночеством крестным?
Не может быть дольше красна
и страшно с исподу червива
земля, чья растрата ясна
и мга не в пример долгогрива.

1984

* * *

Догётевой лепки
альпийский алтарь слепоокий.
Из бронзовой репки
под мраморный глянец протоки
бегут, расплетаясь.
Но так тяжело Иисусу,
что свечи, пугаясь,
всей стаей сбиваются к брусу.

Когда ослепляет
спасения чистая пытка,
Господь наполняет
глазницы белком до избытка
под обручем терний
и ставит пред оные кратно
две русские тени,
которых не пустят обратно.

8.III.1984

НА ЛОТАРИНГСКИХ ХОЛМАХ ЕЩЕ ЗИМНО...

Нине

На лотарингских холмах ещё зимно
блещет в хвое белена.
В темно-серебряном пламени гривна
солнца совсем холодна.

Трансъевропейская встречная тряска,
вынос из тьмы дуговой
— в сон, закруглённую было развязку
подлинной встречи с тобой.

...Издалека, где темна оболочка
сумерек в кронах седых
и рассыпалась бенгальская точка
верных снегурок твоих,

вдруг на поверхность выносит теченье
стаю отроческих рыб.
И начинается коловращенье
сердца, пока не погиб.

Словно зажал на уроке когда-то
в потной щепоти мелок,
слыша ухватчиво и воровато
сдавленный твой шепоток.

Март 1984

* * *

Житуха, жизнь — в её единственном
числе, не емлющем дробей,
не умножаемом, таинственном,
подобно родине моей,
заросшей по глаза крапивою,
клонимою за окоем,
погостной бузиной ретивою,
боярышником и репьем.

Почувствовав ожесточение
отроческое по весне,
чье заповедное значение
всего отчетливей во сне,
железо на морозе липкое,
бывало, тронешь языком...
Начнёшь могилой,кончишь зыбкою
за зазеркалевшим окном

— чтоб наобум в альпийской замети
передвигаться чуть не вплавь,
преображая жадно в памяти
утраченную напрочь явь,
догосудареву, былинную,
благовестившую окрест,
где ныне — лишь волну чужбинную
глушилка воинская ест.

Март 1984

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

I

От кленовой разлапины,
далеко перетлевшей во мгле,
уцелевшие крапины
на чужой полулевой земле,
утопающей в зелени
и слепящей в щелях жалюзи,
— то к античной расщелине
притулимся в замшелой грязи,
то лекалом бездонного
нас канала потянет под мост,
где на клюве у лебедя сонного
костяной громоздится нарост.

4 марта

II

В дни апреля, на сломе их
я увижу, уснув вдалеке,
как мы в шляпах соломенных
в полдень с пляжа плелись в Судаке
вкривь тропою подгорною
к глинобитной хибаре Бруни.
Будто музыку чёрную,
все последние дни
я в ветвях перекошенных
слышу хрипы про милый предел...
Словно русские гнезда, заброшены
в них терновые комья омел.

6 марта

III

Звезды южные в инее
узнаваемом, но
их не знаю по имени,
ибо каждое странно, чудно.
Лишь одно утешительно,
что не сеять, не жать,
а под ними решительно
в чёрной яме лежать
победителем-неучем,
забывающим честно словарь,
понимая, что *не о чем*
говорить — сквозь трухлеющий ларь.

8 марта 1983

ВЕСНА В ГАЛЛИИ

Жадная жимолость крепится к каждому
в славных морщинах стволу
лескообразными нитями влажными
по перелескам Сен-Клу.

Вдруг за Версалем гнездо янсенистское
ожило, зазеленев.
Что-то зазывное, родине близкое
в промельке — между дерев.

И, роговицу наполнив, проклюнется
вдруг опреснённая соль.
Разом и нищенка и толстосумица
— жизнь перельётся в глаголь.

Знаю, что был нерадивым хозяином,
как полагается т а м:
ходко губил я её по окраинам,
волгло студил по морям,

пережимая веслом над уключиной
сердце, стучавшее в клеть.
...Честно теперь в одиночестве скученном,
где мудрено зеленеть,

лишь над гранитом запаянной яминой
пламенно холоден дрок,
— ей причитается несколько каменных
невразумительных строк.

1984

* * *

Не спеши отрешаться — утешимся,
нам не век у чужих куковать,
молодясь, на экзаменах срежемся,
станем шапками птицам махать

по весне — когда, воду грабастая,
у придавленных камнем плотин
собираются с шумом зубастые
аллигаторы тающих льдин.

Будем чай зверобоем заваривать,
кочергою угар ворошить,
уминая бумажное зарево,
и Великим постом — не грешить.

...Только надо поджаться, дыхания
поднабрать в терпеливую грудь,
чтобы вольно менять очертания
облаков, преграждающих путь.

Не беда, что ты тоже беспечная,
стало быть, уцелеем верней.
Европейская ночь бесконечная,
слава Богу, не будет черней.

12.X.1983

ПОД ЭПИГРАФОМ ГЕТЕ

Wer nie sein Brot mit Tränen ass...

Вкруг беглеца
зона кольца
потерь.
Память не спит,
щедро кропит
солью ломоть теперь.

Сам посчитай
пени за пай
зерну,
за перелив
ивовых грив
в волну.

Новый набег
тютчевских рек
сюда —
в рощи дотоль.
Только глаголь
— мать моего стыда.

Думали б р а т ь.
Зайцем петлять
с утра
за тридцать пять
было кончать
пора.

Воля — она
духом бедна
на грош.
Зелень холмам,
музыка — нам:
слышишь, когда не ждешь.

Май 1984

* * *

И. П.

Письма с родины — страшное дело!
Просит каждую Божию ночь
всё там — от густоты до пробела
что-то сделать и как-то помочь.

Что свечу к потемневшему Лику
в непривычно окрепшей горсти,
время краденой ряби толику
в снеговую пустыню нести.

Да, мы видели пинии Рима,
гребни сосен в альпийском огне.
...По весне в абрикосовом дыме
удавалось беспамятство мне,

но чем выше наводят границу,
тем бессоннее тянет опять,
обратясь пепелищною птицей,
над чащобным пределом летать,

где ещё не остыли могилы
победителей-узников и
до родин подытожены силы,
слабокрылые силы мои.

1984

ПОВТОРЕНИЕ

Ты не расслышала, а я не повторил.

Г. И.

I

Вспомнив искру трамвая
под ветвью с имперским обличьем,
вдруг тебя обретаю
в твоём обиталище птичьем
у серебряной рюмки,
чье донце подобно светилу.
Почтальону из сумки
эти строки достать не под силу.
Эй! Прощальная мета
на руке, словно стигма, упорна.
С *того самого света*
мне её насылать не зазорно.

II

Эти тикалки — ах, неподкупны,
их искусный левша собирал,
шестерёнок песок целокупный
на ладонь экономно ссыпал.
А уж маятник — новое чудо,
на которое жмурилась ты,
придержать бы, казалось, не худо
малахитовой подле плиты,
столь легко его ход усыпляет
по сравнению с тем, что теперь,
увелича замах, ударяет
в нашу хлипко закрытую дверь.

III

Метель шелестела б в трубе,
как будто лавровым венком,
а Новиков пусть бы себе
тачал за печатным станком.
И падали б мерно пущай
листовки, ложась в полукруг,
с таинственным знаком *"прощай"*,
ещё не разгаданным вдруг.
Зачем тишина с багрецом
в морозном оконном яйце
наводит — рубец за рубцом
на русском мучнистом лице?

IV

Снег то пушист, то игольчато кромчат,
— как не берёг я наших алмазов?
Выпил и лепит какую захочет
снежную бабу себе Карамазов.
В каждом подвале — бельмо на окошке,
в проходниках — вавилоны поленниц,
впрок поперёк возведённых дорожки,
коей спешат легионы изменниц.
Вот и тебе нафталинный тулупчик
надобен, скроенный бедно, продольно.
Да ведь и я не раскормленный купчик:
знаешь, как сердцу далёкому больно?

V

С плацев и подступов выдуло за ночь,
точно с жаровен, листву.
Это России готовились напрочь
выжечь в глазах синеву
и ощипать во всемирную парку
с райским пером Гамаюн.
Знать, для того и бежали под арку,
мяли лаптями чугун.
Страшно за звёзды: от вспышки до вспышки
только о том и радел,
как бы не отняли их — что излишки
у костенеющих тел.

VI

Если впрямь ничего не останется,
разве волны да лапчатый лист,
но один через пустошь потянется
на слепой огонек акмеист
— как начнет просыпаться брусчатая
с платяным недоходным нутром,
от болотного гнуса зачатая
второпях миродержцем Петром
молодая столица империи,
— так останется только ползти
к алтарю в золотом оперении,
захрипев новобрачной "*прости*".

VII

...Где шпиль, подавшийся
под ангелом последним,
и сад, оставшийся
неисправимо Летним,
хоть крепко заперты
в дощатые халупы
богини, паперти
похожи на уступы,
ветрам, нас выжившим,
приснимся, как казнившим:
ты — не расслышавшей,
а я — не повторившим.

11.XI.1983

ПОТЕМКИН, ЗУБОВ И ОРЛОВ

Россия есть Европейская держава.

Из «Наказа»

1

Потёмкин, Зубов и Орлов
— екатерининских орлов
блестящая плеяда —
намёка ждут и взгляда.

Кому, приосвещая путь,
помогут слуги проскользнуть
в таинственную дверцу
— к жиреющему сердцу?

За шаткой ширмой будет он
шуршать шелками панталон.
И матушка царица
завоет, что волчица.

А где-то комнат через пять
Вольтер задумал почивать,
не помолившись Богу.
Всё гаснет понемногу.

2

С кожаным наглазником пирата
враз любезно и молодцевато
князь воскликнул, словно Казанова,
выглянув под утро из алькова:
— Многообещающий какой
разыгрался ветер над рекой,
соблазняет, видимо, смутьяна
крепость, неприступна и румяна.
И непостижимый, всеблагой
ждёт уже молитвы Небожитель,
ждёт гостинца льстивый просветитель.
Повели, владычица, вставать.

...Но с сиреневатыми опять
амфорами, легшими давно
где-то на таврическое дно,
без громоздких буклей побелённых
стали схожи головы влюблённых.

3

Орлов командирован был
за Таракановой в Неаполь.
Пока под ними понт штормил,
пот по лицу бежал и капал.

И вдруг — переходя на бред,
над грудой скомканного платья
"*Коль славен*" заиграл брегет
в минуту жуткую зачатья.

Когда огонь сторожевой
проплыл отметиной Кронштадта,
кондовый проводил конвой
мадмуазель до каземата.

Теперь княжна обречена
в империи чухны и чуди.
Вот так в былые времена
шутили пламенные люди!

4

Гвардейская акула,
кососаженный хват
указом с караула
в опочивальню взят
— на царственную мушку.
Всходя на бастион,
державную старушку
потешь, понежь, Платон.

Пока душок шалфея
ты ловишь цепким ртом,
вся матушка Расея
у вас под каблуком:
от здешней топкой шири,
чья беспокойна зыбь,
— до приисков Сибири,
где спелись вепрь и выпь.

Уж лучше наше свинство,
да водка, да балык,
чем кровь и якобинство
парижских прощелыг!
Их любит гильотина,
как вставший зверь со дна,
а нас — Екатерина
Великая одна...

5

Кануло, впрочем, в Лету
много чего с тех пор,
нас посживав со свету.
Но у безлюдных нор
не торопи расправу,
не гоношись в ночи.
"Ты победил, картавый,
ты победил," — шепчи.

Мы нахлебались тины,
стали, как смерть, страшны.
Мамки Екатерины
лишь телеса пышны
— в той из родных кунсткамер,
где за стеклом мороз,
переливаясь, замер
россыпью русских слез.

1968, 1992

lll

* * *

Дух-голубь отлетел под купол слепоокий
от тёмного ручья,
не сякнущего из подреберной протоки,
пробитой сгоряча
в зенит распятия, подобный фотоснимку
доподлинностью... За
альпийским ельником опаловую дымку
оставила гроза.
Греми, Германия, бубенчиковой сбруей
стад с пажитями в масть!
Верни, великая, восточную худую
свою же часть.
Столь почитающей реальность трупных пятен
на теле Божества,
всю анатомию его холмов и впадин
— не может быть замес судьбы безблагодатен
во имя торжества
не касок с рожками, лишь раздразнивших волю
в чужой тюрьме,
— но крестной крепости, вступившей с нами в долю
хотя б в уме.

Сентябрь 1984

НА РЕЙНЕ

1

Рейнские воды скорее
паводков вешних в сто крат
мамки своей Лорелеи
мимо летят и летят.
И золотое сеченье
солнца клубится дымком
в обеспеченье
ангельских сил молоком.

В тутошней грозной глубинке
без шишаков и брони
с демонами в поединке
не проиграли они.
Было б верней кулаками,
но, не касаясь земли,
звонкими рати клинками
благовестили вдали.

Дети в обносках, в метели
двигаясь, свечи зажгли.
Как там... Низы захотели,
ибо верхи не смогли.

И в разворот окоёма,
разом поверхностью всей
вспыхнув, погасла плерома.
С тех приснопамятных дней

в башен руинах по склонам
древние птицы живут,
зоркие, сколь благосклонны
к падали, редкостной тут.
С дальних лишь троп Гельдерлина
слышится лакомый писк.
Вереск с душком розмарина —
это и есть тамариск.

И молотящая семя
потусторонних миров
машет, как мельница, всеми
крыльями роза ветров.
Искру, что вьющийся волос,
гонит холодная в на-
электризованный хворост
средневекового сна.

...Мне отплывающий в Лету
больше корабль по душе;
он в навигацию эту,
верно, последний уже.
Словно с записками стрелы
пущены в небо с кормы.
Вот потому-то по белой
палубе мечемся мы.

2

Нерукотворная флора,
ирисы вкупе с репьём
в парусном своде собора
вытканы над алтарём.
И басовитая льётся
музыка, словно с небес.
Кажется, что остаётся
каждому жизни в обрез.

Где серокрылые ели
кучно теснятся вдали,
дети, в обносках в метели
кутаясь, свечи зажгли.
Смотрят на нас как живые
в штольнях веков-рудников
лица уже испитые
маленьких тех батраков.

Сыплется сверху немерен
из мешковины помол.
Не пролезающий в двери
хворост в вязанках тяжел.
Белый ли, тёмный ли, алый,
весь в мириадах огней,
Отче, яви нам хоть малый
краешек ризы Твоей!

...В средневековых руинах
над виноградниками
к ночи затих голубиный
спор со стервятниками.
И, шевеля бахромою
крыльев, то скопом, то в ряд
над закипевшей рекою
зоркие птицы летят.

Баржи гружёные — к цели
вовсе неведомой нам
еле
движутся встречно волнам.
И в розмариновом мраке
предупреждающий
всё ослепительней бакен,
тускло мерцающий.

Близится час рукопашной
ангелов с духами лжи.
Так почему же так страшно
мне и тебе — подскажи.
Словно с записками стрелы
пущены в небо с кормы.
Вот потому-то по белой
палубе мечемся мы.

1989

* * *

Где ж други? лежат на полях
Близь ими разрушенных башен.

Дельвиг

Крылья распущены пегого сокола
с блёстко слепящей каймой,
воздухом их растрепало, а около
меркнет и радужит зной.

Ор рукопашной литания райские
перекрывают: Гряди!
Дельвига други легли в придунайские
травы с ожогом в груди.

Кто его знает, во что ещё выльется
смерть, обретённая здесь.
Снится ль покойным родная кириллица,
швабский ли сумрачный лес?

Незабываема каждая тленная
тень среди тленных теней.
Да ведь и наша с тобою вселенная
— тот же этап без огней.

.....

Иль неприступные, подслеповатые
камня кремнистого из
башен клешни по холмам и зубчатые
стены, растущие вниз,

в чьих амбразурах гнездо обнаружится
пегого стража при них,
— нас обдавая известкою, рушатся
разве что в сводках штабных?

Август 1986

* * *

Памяти Вл. Кормера

Как пламя, прикрыта рукой
руины бойница,
за коей парит с бахромой
растрёпанной птица.
Навряд ли закал
был утра темней и зеркальней,
когда умирал
товарищ на Планерной дальней.

Тесно́ ему там
теперь с непривычки,
где место кротам,
без вовремя вспыхнувшей спички.
Зябко́ там ему,
под ситцем в халтурной юдоли,
совсем одному
не на побегушках у воли.

Ему мишуры
рождественской там не хватает.
Среди немчуры
товарищ его обитает.
Увижу ль когда
я крест над его домовиной?
Вскипит ли вода,
клубясь над крещенскою льдиной?

Увы нам! И там,
где он поселился навеки,
и тут по пятам
текут незамёрзшие реки.
Дуная и Леты свои
единые розно
фарватеры... И
бесснежно, бесслезно.

Декабрь 1986

* * *

Божье сердце — над Шварцвальдским лесом.
...Проезжаешь островерхий Страсбург,
пегие от копоти контрфорсы,
мутный Рейн форсируешь, бывало,
и берёшь направо круто — в гору.

Ястреб пегий, гость средневековый,
видит всё — но ничего не помнит,
помнит всё — но этого не знает,
— тёмное бесцветное пространство
загребая ветхими крылами.

Против виноградников Эльзаса,
замков на высотах голубиных,
скопом народившихся капустниц,
блёстко парусинящих на зное,
— сумрачный еловый лог Европы.

Скользкие от старой хвои тропы
меж стволов прямых мироточивых
пролегают в богомольный Фрайбург
— к алтарю пурпурно-голубому
кисти Ганса Бальдуинга Грина,
льды в аду навряд ли столь же ярки.

Свечи, свечи — в нефах и трансептах,
маслянисто зыблющийся пламень,
словно в дело с факелами рати
ангельские брошены по склонам,
сколько их — Распятый не считает.

.....

Даром бесы, аспиды, блудницы
каменными окают губами:
"Божье сердце — цинковое солнце,
скупо светит — никого не греет".
Но душе-то помнится другое!

Август 1986

* * *

Мёртвое красное
море сухой черепицы.
Что-то напрасное
понову в сердце стучится,

словно ручается
честное слово за птичье:
вновь повстречается
с чаемым ликом — обличье.

В сумерки карие
вдруг подступивший Емеля
— к Верхней Баварии
мачтовых зарослей хмеля

сроду не видывал
там, где с железкой для весу
в тину закидывал
хмарь рассекавшую лесу,

да не сподобился
славного лова далёко,
спился, угробился,
выклевал око за око.

...Рыбка, взыгравшая
в ржавом ведре у невежи,
шла в уловлявшие
сетчатым парусом мрежи,

чуть не истлевшие
было на солнечной спице,
поднаторевшие
соль оставлять в роговице.

Сентябрь 1984

РЫЦАРЬ

Холки овса... Дикий мак
с сердцевиною вороной,
бывало, гнёт стебелёк на злак —
хочет жить да не знает как,
— мотылёк слепой.

Едет рыцарь, подковя шаг.
Забрало до самых глаз
акулье поднято, и шишак
султаном пышным кивает так,
как будто приметил нас.

Попона в крупную шашку, то ж
складчатый клетчат плащ.
Клинкообразный нож
в Константинополь вхож,
честен и работящ.

Гляжу на хвойный баварский лес
с эелёным руном берез,
как тусклый крестик в зенит небес,
идя другому наперерез,
серебряный тянет хвост,

и вижу — рыцаря. И бежать
навстречу ему готов,
коня купать, за узду держать,
зимой на сене гнилом дрожать,
идти на Изборск и Гдов.

И там, держась за его доспех,
уйти под свинцовый лед
как прежде верующим в успех
похода, и пузырьки кислорода
пуская вверх.

О рыцарь, рыцарь, стальная масть,
подобно большой блесне
— пред гробом Господа думал всласть
на два гремучих колена пасть,
— ты спишь на чухонском дне.

20.VI.1985

В ПОЗДНЕОСЕННИЙ ШТИЛЬ

...В позднеосенний штиль
пахнет сырой землёй.
Остроконечный шпиль
кирхи над головой
брезжит. И поделом
к старой стене впритык
вон же он за углом
— красный боярышник.

Сразу не вспомню год,
где обнимал, шепча,
беженской бязью под
трепетный скат плеча,
что замерло, затекло,
— а между тем следя
за брошенною в стекло
пригоршней дождя.

Отворотясь к стене,
шепчешь: "Совсем чужой
стал с той поры как не...
— и задохнулась: Мой!"
Капля одна в одну
стронулась и влилась,
блёсткая, по стеклу
серому разветвясь.

...Красный боярышник
разом и густ и гол.
Горький его тайник
выклевал и проник
в небытие щегол.

Ноябрь 1987

SYLVESTER—87

1

На клиросных крылах под елями
склонились над виолончелями
в громоздких ризах серафимы.

И знают их смычки тяжёлые,
гудящие и длинностволые,
что наши слезы неделимы.

Подтягивают им сбегающий
поток в холеные овраги
и вихрь, навылет продувающий
альпийские ареопаги.

2

И вспоминается, как хлопчиком
средь завороженного сада
бежал я из дому окопчиком,
прорытым после снегопада,

то бишь скрипучею траншейкою.
И на морозе резче пахло
пронафталиненной цигейкою,
лоснящейся на горле дряхло.

3

Под растревоженными елями
склонились над виолончелями
в расшитых ризах серафимы.

И знают их смычки, идущие
с трудом и с лёгкостью плывущие,
что наши слёзы неделимы.

...Под током дали пограничные,
где обитают, темнокрылы,
животворящие, безличные,
стихослагательные силы.

Январь 1987

* * *

Шиповник помёрз и пожух
на снежной колючей дуге.
И льётся по гальке Изар,
прибрежный смывая ледок.
Под самые сумерки вдруг
наплыв благовеста с холма
на пойму — воздушной волной
относит в предгория Альп.

.....

Так вот ты какая, тоска
по родине. Хворост свечей.
Дух-голубь вскрылил в облака
в сиянии реек-лучей.
Как будто целебной слюной
вдруг веки помазали нам,
и надо тропинкой одной
спешить к вифлеемским яслям.

24.I.1985

* * *

Под сводчатым чёрным зонтом
спасаясь от встречной пурги,
на таинство инок спешит,
в сутане на рыбьем меху.
У исповедальных кабин,
как водится, нет никого.
Меж взвинченной пены лепнин
алтарный чернеет багрец.

.....

Но кто покарает грабеж,
когда у свечного огня
ты сонное царство вспугнешь,
решась отойти от меня?
Мне скулы под сорок свело
кощунство на родине — там,
где вместе ни разу светло
и узнанно не было нам.

22.I.1985

* * *

В предклиросном светлом крыле
за тусклым надёжным стеклом
святыня: нетленный скелет
угодника гуннских времен.
Унизана каждая кость
рядком драгоценных камней,
и в серых фалангах зажат
на нас указующий жезл.

.....

Дак вот, любодейка-судьба,
в каких ты пасёшься яслях!
Навряд ли твоя колотьба
отсель растрясет Ярославль,
дремотный — на двух берегах,
бесследно вобравших багрец,
по грудь утонувший в снегах,
чей холод дошёл до сердец.

22.I.1985

* * *

(вариация)

Угодник — за толстым стеклом.
Сапфиры, рубины, жемчуг
усыпали густо, тусклы,
священные кости его.
Загадочно бронзовый жезл
фалангами сохлыми сжат.
И липкий снежок на окно
ложится, скрывая погост.

.....

В заволжской ночи невпрогляд
есть тоже Святая земля.
Ещё за неё постоят
репейники и конопля.
Когда в её белой волне
её же начнут и топить,
найдётся угодник — на дне
мальков обращать и крестить.

24.I.1985

В РОЖДЕСТВО

Свет течёт из зимнего окна
прямиком под веки.
Это ты так сказочно бледна
от его опеки.
Первый ранний беженский мороз,
словно сопку,
прихватил копну твоих волос,
столь щемяще стриженную в скобку.

Обернись: мерцает за плечом
вновь звезды серебряная клемма
— той, перебирающей лучом
крыш коньки и люльки Вифлеема.
И за горным ельником в зубцах
с валунами вместо изголовий —
на лотках в рождественских ларцах
тлеют угли мюнхенских зимовий.

Над свечами тусклыми уже
в необъятной кирхе пропыленной
Дух Святой
завис на вираже
— отзвуком осанны похоронной.
Наши души в плотских коробах
тоже, статься, станут голубиней,
сквозь махровый сблизившись впотьмах
и фосфоресцирующий иней.

1989

IV

КУПИНА ПАЛИМАЯ

В поле безродном — купйна, палимая
беглым осенним огнем.
Жизнь искорежена, непоправимая
тянется ночью и днем.
Кажется, уж послабил удавочку,
что же всё туже она?
Эй, кровопийца,
закрой свою лавочку!
Всю бормотуху до дна
выжрал мужик, по распутице чавкая.
Крепок дешёвый табак.

...Где одичалые бобики, гавкая,
руку оближут за так,
страшно в России быть заживо сваренным
в клетке с поддувом под дверь.
Страшно с ружьём — под картавым татарином.
Страшно с кайлом неподъёмным — под Сталиным.
Страшно — под тем, кто теперь.

Ноябрь 1982

ТОГДА ЕЩЕ КЛЕВЕР ПАХ...

Ю. Зубову

1

Тогда ещё клевер пах
за нашей околицей.
В полдень летал впотьмах
овод по горнице.
Там тишина взахлест
громом утроена
в синих почти до слёз
неба промоинах.

Влажная акварель
тоже была чиста,
тает её капель,
скатываясь с листа.
В лунках тех красок вновь
тускло стоит вода.
Ладно, не прекословь
слышимому тогда.

...Кто-то принес на двор
было щенка-слепца.
Так и скулит с тех пор
возле щелей крыльца,
переходя на рык.
Вымершим вторящий
— это и есть язык
русский глаголящий.

2

Заколосился вдруг
ярче за рамами
всеми цветами луг
теми же самыми...
Из годовых колец
вытянула рука,
чтоб распахнуть, ларец
ветхий этюдника.

Как выживали встарь,
кисточкой тыкая
в ультрамарин и гарь,
тайна великая.
Тот отшумевший бор
всё баснословнее.
Стали и мы с тех пор
суше, бескровнее.

Тела не греет бязь.
Словно теряя жар,
в полый зенит, клубясь,
катится серый шар.
И полыхнул вдали
свет фосфорический
падающей земли
в омут космический.

1989, 1991

СПРОСИ, ПРИТВОРИВШИСЬ НЕМОЮ...

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья.

П.

I

Спроси, притворившись немою,
у ветра, чья песня вольна,
почто в неприступную хвою
берёзы лоза вживлена,
горящая тихо, продольно;
а вдруг в приозёрном логу
ей — больно
и холодно на берегу.

...Чего ж заждалась, не спросила?
Быть может, сквозь влажную пыль
то — золотоносная жила
мурановских приисков — иль
нездешней красой леденящих,
чья недорастрачена мощь,
а значит, тем паче пропащих
распадков михайловских рощ.

II

Над садом, подлеском с рябиной
в скукоженных комьях кистей
— усадебный ворон былинный
судьбинно скликает гостей.
Не там ли созрело, а после
упало державное вмиг
зелёное яблоко — возле
обтянутых кожею книг?

...Приблизив к раскрытым — слезами
наполненные глаза,
счастливцы, смотрели б часами,
что грешники на образа,
как, строя читателю куры,
бахвалится древком с косой
костлявая — в нетях фактуры
старинных страниц с рыхлотцой.

III

В бревенчатой горнице пакля
неправдоподобно свежа
и — лезвием пахнет
с наборною ручкой ножа.
О, всё отражающий, кроме
реальности, тусклый овал
настенного зеркала — в доме,
где кто-то до нас побывал,

в ещё не рассохшейся раме,
подобной тугим обручам,
мы верим твоей амальгаме
и честным беззвучным речам.
Шагнуть — и сторицей
ответят с другого конца
разбуженные половицы,
и дверь, и ступенька крыльца...

Сентябрь 1989

* * *

Так тучи низкй,
что хочется голову в плечи
втянув, от тоски
вернуться к рифмованной речи.
Куда их несёт,
настоль переполненных снегом,
над чьим растрясёт,
навек осчастливив, ночлегом?

Который уж год
моя дармовая неволя
за окнами ждёт
заокского белого поля.

Там ангел крылом
поводит, спустившись заране
к обложенной льдом
и не остывающей ране.

...Под градусом шёл
и зарился вором
на крупный помол
миров над реликтовым бором.

О, там, где темней
сияние по-над рекою,
прижаться б к твоей
холодной цигейке щекою,

усыпанной чуть
подтаявшей манной.
Под утро уснуть,
уснуть на груди недреманной.

Ты ближе жены
была на заре над заречьем,
где выстужены
последние сени и печи.
Не то чтобы срок
мотали за слово в кубышке,
а за колосок
колючего инея — к вышке.

1.III.1989

ПАМЯТИ АЛАПАЕВСКИХ УЗНИКОВ

Всё время за окном проходит часовой,
Не просто человек, другого стерегущий...

Вл. Палей

Их вывезли ночью в скрипучих возках,
беззвучно буксующей в звёздных песках,
по левую руку Урала.
Дивясь, мужики заприметили то,
да только из чащи не крикнул никто,
ладонью завесив кресало.
По потному крупу ходила шлея.
Пудовая плечи встречала хвоя.
Слеза истощалась в морщине.
Заржал ли зазывно некормленый конь
под ветром с сивушным приказом "огонь!",
пронесшимся в чёрной лощине?

Всё вспомнилось разом: волна и скиты,
ахилловой твёрдая поступь пяты,
где радуя, где безобразя,
сугубых заставок наивная вязь,
багрившая лирику, не торопясь,
не ею великого князя.
Весь путь — от бочонков резного крыльца,
когда на постылые лавры венца
чужие задули амуры,
— до сваи, забитой в балтийскую топь,
которую, как ни стекли, ни европь,
не вырубишь из амбразуры.

При помощи где топора, где весла
Россия сама себя переросла.
Ей прочит бессрочные вахты
симбирский чуваш, облысев по виски.

...Так сгрудились под Синячихой возки
у самой заброшенной шахты.
И стали чекисты палить вразнобой
в столпившихся узников плотной гурьбой
да мазали мимо, вестимо.
Но льнущее к чистым телам полотно
для пуль не помеха, а с ним заодно
и то — что и так уязвимо.

Как долго ещё из земной глубины,
заваленной наспех, казалось, слышны
окрест песнопенья монахинь!
Быть может, вот так — перед тем как сгореть,
пропащие, будем возможность иметь
вдруг преобразиться во прахе,
смешении алого дыма и льда.
Но эхо уже опоздает сюда —
под стены земного прилога,
напрасно оно соберётся искать,
кого подбодрить, а кому попенять,
за своды цепляясь убого.

Да полно тесниться! Уже и теперь
открыта на скобах заржавленных дверь,
не зря собираются вместе
готовные пальцы у влажного лба,
не зря вразумительно дарит судьба
летящие издали вести:
что вот — непорочное Слово хранит,
как будто железную взвесь малахит,
иного значенья приметы,
— как мощи нетленные Ерусалим
при жизни утешившей платом своим
монахини Елизаветы.

7.XII.1983

ПОКРОВ В ПЕЧОРАХ

Покрову 1977 года

1

Нас было двенадцать паломников в доме.
Башка примерзала под утро к соломе,
и скулы сводила ленца,
пока при честно́м огоньке у иконы
в гвоздок рукомойника тыкал ладони,
сгоняя дремоту с лица.

Под свежей, от тьмы отделяющей своды
побелкой, не сгладившей кладку породы,
звонарь нажимал без труда
ногой на рычаг из лохматых веревок
покойно, уверенно, без остановок
и перекрестился, когда

— над всей котловиною мощно убогой,
куда поспешали булыжной дорогой,
— поверх разветвлённых стволов
скупым багрецом парусинящим взвился
и непререкаемо распространился
Владычицы нашей Покров.

2

Ветер сугубит ектинью
в долгих потёмках; один
держится, выпростав клинья,
возле крыльца георгин.
Трепетно и благолепно
псково-печорский пропад
утром укутан в отрепья
кленов, когда листопад.

Вижу над ними воочью
ткань из беспримесных льнов,
алую к сосредоточью —
Матери Божьей Покров!

Если уже из придела
ставшее, было, мельчать
вынесли косное тело
в грубом гробу на плечах,
строго Покров пропускает
душу тогда сквозь рядно
и милосердно счищает
всю с неё спесь заодно.

3

Где осенних кистей сухожилия
держит ветер ещё на плаву,
преподобному отче Корнилию
отрубил самодержец главу.
Но и впредь — через оторопь душную,
как ни страшно радеть на Руси,
не кольчугу, а ряску тщедушную
на натруженном теле носи.

Так остались без пастыря братия
и Владычица наша. С тех пор
окровавленный лоскут гиматия
вшит охранно в её омофор.

Чтоб просфора, давно испечённая,
не блазнила знакомую мышь,
не увлёк в праздноту отвлечённую
полированный четок катыш,
наши ижицы — красны заставками,
не хождением по воздусям.
...Лишь украдкой махни камилавкою
под Покров уходящим гусям.

4

Любимый отец Иоанн
раскачивал властно кадило,
и ладана тёплый туман
вдыхать обязательно было.
Чем пуще смятенье в свечах
у вдруг застеклённых кивотов,
тем гроб тяжелей на плечах,
кренящийся при поворотах.

Незнамо кому на позор
покойник во всём ещё новом.
От паперти — на косогор
Покров опереньем кленовым
заботливо выстелил путь, —
чтоб горло свели через годы
тот ветер над ямой по грудь,
развалины и недороды.

5

Когда над пещерным Успенским
с мощами, покойными в нём,
и далее — Пюхтицким женским
таинственным монастырём,
где лают ночами цепные
у келий, сугубя затвор,
и ярче поля силовые

— расправила Мать омофор,
чей парус смиряют на кромках
жемчужин речных катыши,

мне был в благовестных потёмках
там голос: "Отдай, не греши,
последнему зверю берлогу".
Но всё в самостийном кругу
я слепо наследую слогу
и скупо строку берегу.

6

В рассеянье сущий слабак,
ты помнишь, как в небо вожак
увёл журавлиную стаю?
Да, я ничего не забыл,
подушную подать с могил
в скупую казну собираю.

За сыпкую ржавь на кресте,
усохшем в бузинном кусте,
убожество мраморной крошки
— я, может быть, душу отдам,
но не присоветую вам
моей запетлявшей дорожки.

Над лестницей дёготных шпал,
куда бы карабкаться стал,
кусачками выев границу,
прошу: вместо лучших обнов,
Владычица наша, Покров
накинь на родную землицу.

Чтоб нищенке стало тепло,
чтоб впредь на отлёте крыло
его милосердья касалось,
чтоб в своды врастал окоём
над сбившимся в стаи огнём
и Слово живым обреталось.

Октябрь 1983

V

* * *

Кроме русских морей я еще полюбил и иные:
столько связано с ней
— этой новой землей!
Как прозрачны накаты волны и
сколько тусклых огней!
Массой зелени всей налегли на ограду
роз несметных венцы.
И отпевно, соборно токуют цикады
на костях сарацин.

Это тут, на излуке кремнистого тракта
у дуплистых олив,
словно, Господи, падает с глаз катаракта,
ибо Ты незлобив,
и — плывут по нему крестоносные рати,
огибая углы
скал, и реют у них на подхвате
по-над бездной орлы.

Ала на капетингском древке орифламма,
статься, дело к резне.
Далеко-далеко полумесяц ислама
брезжит в голубизне.
Или просто песчинка рыбачьего бота
выбирает улов
нескончаемый из закромов перемёта
для пасхальных столов.

1989

SAMOS

Н.

1

Пятнам седьмого пота
между лопаток — век.
Правит рыбачьим ботом
в выцветшей майке грек.
Мастерские сметливы
пассы его с кормы.
И шелестят оливы
текстами Паламы.

В хижине-храме рядом
с осыпями свечу
тёмную — от лампады
гаснущей засвечу,
кажется, тем утроя
Божьего темь угла.
Плёнка к оконцу зноя
радужно прилегла.

И черепичной крыши
с древнею сажей рос
выше
куст византийских роз,
словно улов, несметных,
ветром качаемых,
ветхих, новозаветных,
смолоду чаемых...

2

Гребень на зное
клонит скала.
Милой льняное,
словно крыла.
И на пригреве
щерят резцы
юркие в гневе
ящерицы.

Ночью при звёздах,
пахнут когда
розами воздух
и резеда,
рано впервые
пробует вслух
голосовые
связки петух.

Ялики, боты
выслал Господь
в даль на работы,
соли щепоть
бросив в несметный
между валов
новозаветный
царский улов.

30.IV.1989

* * *

Где чайки, идя с виража
в пике, прожорливы,
за радужной плёнкой лежат
— мечта государей — проливы.

Но возле полуденных стран
нас, словно куницу в капкане,
с опорой на флот англикан
смогли запереть басурмане.

Эгейская пресная соль
под нёбом закатным.
Еще, дорогая, дозволь
побаловать небо мускатным.

На линии береговой
напротив владений султана,
быть может, мы тоже с тобой
частицы имперского плана.

Но, Господи, где тот генштаб,
его не свернувший доныне,
чтоб мысленно мог я хотя б
прижаться губами к святыне!

Дай жаждущей рыбиной быть,
чьё брюхо жемчужине радо,
и тысячелетие плыть
и плыть до ворот Цареграда.

1.V.1989

ВИЗАНТИЯ

1

Не по тулову вазы бежит голенастый
ободряемый гончими мим.
Просто волны смывают с уже безучастной
Византии оливковый грим.
Ту, которую Отче наш к сердцу приблизил,
на глазах от души покарал.
И блазнит язычками коралловой слизи
у подножия скал
поджимающий крылья могильных эриний,
по-над толщей морской

пронимавших хвою константиновых пиний
и елениных кедров тоской.

2

Часто в утра безлюдные,
а случалось, во Имя Твое
рати латные, орды лоскутные
осаждали и брали её.
Но в палермских апсидах грубеющих,
флорентийской пожухшей слюде
да и в окской излуке синеющей
– Византия нигде и везде!

Лишь до времени младшая сводная
ей сестра, расщепившая впрок
поминанья просфору холодную,
опечатала тайной роток.

3

Кто из нас, прирастaвших от ужаса к парте,
заарканит кружком,
без заминки найдя на разглаженной карте,
иль пришпилит флажком
— эту корочку суши? Раскисшего снега
наглотавшийся, как молока,
отставая, бежал за дружиной Олега
сын его же полка.
Не согреют уже багряницы льняные
наших батюшек, маленький князь,

будет шапкой махать на столпы соляные
и таким же столпом становясь.

1985

* * *

Перекручены либо раскрыты стволы
придорожных олив на припёке
у отвесной скалы,
к чьей коре прикипели потоки.
И эгейский прибой
басовитей любой
древнегреческой песни,
перешедшей на хрип.
В брюхе каждой из рыб
поликратов светящийся перстень.

И готовую всей синевой отвечать
сходству с розой на ризе
губернатор Афона поставил печать
на ладонью разглаженной визе.

Многотонные стонут валы налегке.
Отвечающий им величавый,
словно парус, в рывке
закогтил на древке
вновь державу двуглавый.

У него на виду,
задыхаясь, пойду
по тропе, осыпавшейся в шхеру,
мимо дрока в цвету
— вверх к отшельнику сербу в пещеру

...В тесной скинии там
без кивотов и рам
можно встретить, огарок нашаря,
много русских святых,
и видней среди них
убиенного лик государя.

Из тяжёлой бутыли подзарядив
на ночь маслом лампады,
авва вновь молчалив.

Лишь на шорох олив
штормовые неспешны накаты.

1989

ФЕОДОРА

1

Сумрачных скал замес
с доступом лишь глазам
вырос наперерез
падающим волнам.

Мечется мышь летучая,
падая и паря,
с каждым витком — живучее
около фонаря...
Веки с сурьмой отмытою
на ночь с трудом смежу,
словно сама убитая
раньше тебя лежу.

Отроду двуединая
цельная ипостась:
агнец и царь, чья львиная
грива с руном сплелась.
Ангела и Иакова
в схлёсте одежд с крылом
— райский моллюск, чьих раковин
не расщепить ножом!

...Скоро, опившись смолоду
уксусу с жемчугом,
что показался с голоду
с ледника молоком,
в спешке зальют нас жертвенной
нашей же кровью. Но
в опочивальне мертвенной
слышится мне одно —

грозный твой зов:"Нужна мне
и посейчас люба".
Ящерица на камне
тоже твоя раба
— для твоего зверинца.
О, отцеди, родной,
с царственного мизинца
капельку голубой

— мне на причастье. Впору,
если не поздно, знать,
из поставца просфору
и копьецо достать.

Отсвет на ус русеющий
возле щеки в поту,
грозно с лампады тлеющей
падая в пустоту,
меркнет от взгляда ль встречного?
Чернь ли взяла дворец?
Или зовут бубенчики
щиплющих тёрн овец
нас отпевать на клиросе?
Пойманных голубей
наши тела при выносе
будут не тяжелей.

2

Пасмурный ослик на
лбу с золотым пятном.
Серая зелена
роща олив кругом.

Грозен, незаменим,
в одеяньях, продубленных солью,
выводил серафим
наш баркас, не сверяясь с буссолью,
между рифов — из тьмы,
обминуя рыбацкие вешки,
словно не были мы
кровью жертвенной залиты в спешке.

...Но от утра того,
тамариска среди голубого,
когда ты своего
за моим погонял ретивого
осыпною тропой
и кремнистым потом бездорожьем,
— наши души с тобой
обитали в чистилище Божьем.

В полусвете олив,
что приземисты и величавы,
грешный, нетерпелив,
раскатал ты кошму для забавы.
Быть рабыней твоей
я училась тогда у хозяек:
чутко дремлющих змей,
рыб летучих, дрейфующих чаек.

..Похотливо слепа
по рецептам крамол с мятежами
приступила толпа
к нашим праздничным горлам с ножами

Перед меньшим из зол
— правой гибелью бегство нелепо.
Ибо что же престол,
как не крест, опрокинутый в Небо.

...И в сеченье луча,
столь же видимо, сколь и незримо,
ветер валко качал
у причала баркас серафима.

3

Каменный желоб, и
льдистым жгутом вода
в руки бежит мои,
темные от труда.

Слепнями облепленный мул
на пепельном зное уснул
вблизи византийских останков,
как будто из них и воскрес,
минуя оливовый лес,
дуплисто ощеренный с флангов.

И веками полуприкрыт
фарфор умудрённых орбит.
Кремнисто-зелёные горы
ещё выцветают окрест
и слышат прибой и протест
царицы своей Феодоры:

"Когда осаждает толпа
покой, за которым тропа,
зовущая в путь без поклажи,
стопою её не ищи:
пурпурные наши плащи
— достойные саваны наши!

И Сам Пантократор Христос,
копной окаймлённый волос,
с мужицкою кожею темной
у круто замешанных глаз
закланных и царственных нас
ждёт в купольной веси огромной".

...Похлопает издалека
пришедшего мула рука
гонца-невидимки.
И зноя края —
как рыб чешуя
в минуту поимки.

Бесстрашно вглядись
в бездонную высь
и недра Фавора,
во тьму и огни
— она и они
твои, Феодора.

1987

* * *

Стяг золотой с грозным орлом,
белые двери — и
Пасха прошла вся под крылом
павшей империи.
И за кормой, раздаваясь вширь,
рос — и его роса
тускло поблескивала — пустырь
Отчего космоса.

Жизнь отстроилась на золе,
дабы смел речь вести.
Видел, что ящерицу в дупле,
душу я в вечности.

Чью и из чьих только памятных рук
жертву принять не успел.
В Лавре афонской с оливками лук
в знойные сумерки ел,
слыша за зубчатою стеной
древний распев морской.

И подпевает ему мужской
ночью у Иверской.

1989

ОТ ИСТОКОВ ДО УСТЬЯ

Зеленолиственный Дуная
исток... поток,
сторожевые огибая
холмы, глубок.

Река Дунай — двупол и холост
его ручей.
В лучах оконных белый хворост
горит свечей.

В его водоворотах цепких
ныряющая та
щепа сколоченного крепко
для нас креста.

Как сукровица от стигмата
на полотне
или заржавленная лата
— зенит в огне.

.....

Дунай, сливающийся с Летой
в спектральной мгле
далёкой дельты — не на этой
давно земле,

где выпотрошены седые
валы
и наши тени молодые
легли светлы

— на растолчённые частицы
ракушек; и
обугливаются страницы,
Творец, Твои.

1986

ОСЕНЬ В СКИФИИ (1976)

...Где Овидий, завидев, спешит из сторожки,
лавровишней венчанный бедняк,
    для кормёжки
блудных пляжных собак,
наклоняя повинно плешивое темя,
словно тем признаваясь легко,
что и в старческой темени скудное семя
ищет, где глубоко,

кто-то выпотрошил содержимое грозных
присмиревших валов:
с перламутром толчёным ракушечник слёзный
вместе ждут холодов.

Сколько нежности в том, что уже потеряло
право быть на виду,
испарилось, пропало
в баснословном году!

...Словно рядом стрекочет размытая лента,
уходя в пустоту,
    и латентно
в темноте на свету
вижу пригоршни позеленевшей монеты,
тот кувшин, что распили вдвоем...
    Драгоценная, где ты?
И Боспорского царства поделки — браслеты
всё ль тусклы на запястье твоём?

1987

* * *

Н. Б.

Оливы Апулии ли
седы и дуплисты,
морские ли волны вдали,
прозрачны и мглисты,

о камни вразнос.
Свисти — не услышит
бегущий по берегу пёс
и кисть не оближет

под мшистой с торца
и дремлющей дико
скалою с чертами лица
царя Фредерико.

...Глухого свободного пса,
по милям песчаных промоин
бегущего, смежив глаза,
не всякий из встречных достоин.

В запасе на заднем дворе
съестные объедки.
Цветущий покров на горе.
И звёзды возникшие редки.

О чём ещё небо просить?
Ветшая, оливы
одни шелестят, может быть:
спасибо, что живы.

31.V.1986

ТЕНИ

I

Вновь под отеческие пинии
на призрачных высотах Рима
с передовой кипящей линии
рассеяна, непобедима,
как спицы блёсткая вязальные,
до нитки мокрая от пота,
течёт в ворота триумфальные
неиссякаемо пехота.

И снова гонят центробежные
ветра и тяги гужевые
разбить вдали биваки снежные,
разжечь костры сторожевые.
Безостановочны реляции
ареопагу олимпийцев
от каркающих — о миграции
пехоты задубелолицей.

Лишь Средиземноморьем ялики
ещё шныряют одиноко.
И сердце серым хищным маленьким
дрожит под латой ястребёнком.

...Любой юнец на этой рытвенной
земле, до трещин раскалённой,
ещё не испытавший бритвенной
щекотки на щеке солёной,
из страха опростоволоситься
перед теней когортой гордой,
когда понадобится — бросится
на меч короткий грудью твёрдой.

Август 1986

II

Свет серафический,
идущий из-за двери
прославленного склепа
веронской пери.
Зазывно слепо
жёлто-коралловых дворцов прогнивших стены.
Во дни иные
приснятся запросто какой-нибудь сирены
и губы серые и брови вороные.

Европокойница!
Кому приоткрываешь
свои проточные озёра, реки щедро?
Мне тоже хочется, как ты не понимаешь,
косноязычному, в твои проникнуть недра.

.....

На подоконнике в пустой библиотеке
мы не заметили, а то бы закричали,
сосудик в мраморе, вдруг лопнувший навеки,
когда неведомо — от страха и печали.
Как будто с ножиком под праздничной тужуркой
в бесшумных чоботах прокравшийся убийца,
красавец урка,
бугристо-влажную перевернул страницу.

Август 1986

III

Дряхлый ястреб, парящий бессрочно,
многомилостив и безучастен,
над в пространство раскатанной точкой
темноты, может статься, и властен.
А всего-то столетие только,
как осыпалась вся на пути и
по обочинам — жухлая фольга
до Венеции от Византии.

Что крылатые львицы, свирепы
приручённые волны лагуны.
И теснятся роскошные склепы,
словно виллы, где дергают струны.
Кто-то первым из нетерпеливых
незаметно пробрался в усадьбу,
утонувшую ночью в оливах,
— в Галилейскую Кану на свадьбу.

.....

В этих сумерках сытно-тревожных
прозревается кисть Веронезе:
многолюдство его осторожных
персонажей в парче и железе.
Оглушённые кроткие тени
оборванцев и дожи-апаши,
примостясь на ступенях,
смотрят в кубки и чаши.

Август 1986

ВЕНЕЦИЯ. НАЧИНАЕТ СМЕРКАТЬСЯ

I

У зелёной воды
затопившего крипты канала
гребешки лебеды.
Из кирпичных руин арсенала
в пышный ордерный лаз,
обнаруженный лет через триста,
вышел прямо на нас
лев — и окаменел мускулисто.

О Венеция! Вслед
лижут волны твои променады
и мерцают с пьяцетт
из наборного камня фасады.
Андрогинна до слез,
вся прозрачна, крылата, когтиста
— византийский форпост
под эгидою евангелиста.

II

Марк в кокошниках. Нам
будет сниться его позолота
и трофейные там
капли в ризнице крестного пота.
Серый мрамор поблек,
глянцевито с торца голубея.
И сгущается снег
перьев — вкруг сизаря-чичисбея.

Кто в отместку зиме
ждёт попутного ветра с нагорий.
Кто себе на уме
в жернова засыпает цикорий.
И не дорог билет
визави арсенального тыла
на резной на просвет
остров — где и у русских могила.

III

В измеренье ином
под колючим алмазом надира
брат с сестрою в одном
есть лице: Петроград и Пальмира
— у Венеции. И
это там ледяные торосы
и подруги мои,
тонкокостные грустные осы.

Их ладони сухи,
холодны и легки на помине.
Их призванье — стихи
наши знать в нищете и гордыне.
И палаццо, и львы,
и аркады рядов-прокураций
обезлюдевших — вы
порождение их эманаций.

IV

...Между ставен в окне
слепкий блик. И над плёсткой волною
чутко в белом кашне
задремал бородач с сединою.
Роскошь, здравствуй-прости!
Время, сняв с задубелой веревки,
небесам принести
в дань полотнища и драпировки.

С остриём
в сердце невосполнимой потери,
переполнив огнём,
словно сопла, алтарные двери,
ветер дует опять.
И обильная блесткая влага
начала проступать,
как на толстом стекле саркофага.

Март 1988

* * *

(вариация)

Ступень Палладио, промытая лагуной
до серых вен.
У той республики... прощально юной
в глазницах тлен.
Там крипты в копоти затоплены водою,
зелёной на просвет,
как православный, лебедою
захлёстнутый подклет
у нас в губернии... Из Византии
наборный мрамор сиз.
И мимикрирует сизарь из-за слезы и
когтит карниз.

Во скольких парусах крылатый лев над книгой!
Но он — один:
Сан-Марк в кокошниках с трофейною квадригой,
храм-андрогин
и овн, украшенный простосердечно
награбленным добром,
добытым рыцарями в панцирях предвечных
хитиновых с крестом.
Бликуют глянцево бесценные породы
порфира — и вокруг
винтами, килями шинкованные воды
взлохматил ветер вдруг.

Возле окна
кофейни... в сумраке аптечном бара
спрошу вина.
А рядом — пара
в масть местной голытьбе:
она в куницах в холод,
он тоже вещь в себе,
седобород, немолод...
Венеция, с лицом женоподобным город!

Март 1988

С ДОВЕРИЕМ К ГЕОГРАФИИ

1

Сквозь капли, на стекло осеннее
вдруг навернувшиеся крупно,
расслышишь ли стихотворение
с налётом ветра целокупно?
Не разглядишь зелёно-синие
накаты моря на откосы
в Испании и в Абиссинии
несобранные абрикосы.

В каком-нибудь аббатстве сумрачном,
нависшем над тропой овечьей,
его игумену, рассудочно
бичующему в кровь заплечья,
пригрезилась полулежащая
в стремнинном половодье ива,
не отстающем от летящего
по Галлии локомотива.

О сколько лье легло в преддверии
перелопаченных суглинков
и конопатой жандармерии
империи поволжских инков!

...Но чаще видятся неясные
мне сны мальца из совсемейки
и магендовиды алмазные
снежинок русских на цигейке
— ещё от дней, когда увечные,
как рыбы разжимая губы,
просили милостыню встречные
на деревяшках жизнелюбы.

Я рано на высотах севера
заматереть поторопился.
Сомнамбул шмель в головку клевера
уже неотторжимо впился.
Туда зовёт недаровитая
стихослагательная сила
и вся земля полуоткрытая,
как соловецкая могила.

2

Что у нас впереди,
кроме тьмы, ни на что не похожей?
Голубела в груди
та богемная жилка под кожей.
Наш сарай, словно трюм,
переполнила в пекле прохлада.
Превращалась в изюм
забродившая кисть винограда.

Я на месяц сполна
ускользнул от столичного сыска.
От загара темна
печенежка моя, черемиска.
Тот моллюск не иссох.
И надетое прямо на тело
её платье в горох
тоже, стало быть, нет, не истлело.

И прибой
— добиблейская сила слепая,
в темноте голубой
вдоль косы шелестел, закипая.

...Через год я бежал,
обвинённый едва ль не в измене.
Помню первый бокал
бочкового холодного в Вене
за скоблёным столом.
Что кусок драгоценной породы,
не отбитый притом,
— эмигрантские куцые годы.

Ушлый, знать, мужичок
я — раз ветром того побережья
раздразнил язычок
в сердце подленький слабой надежды,
что крылатый гонец
иль костлявый поверенный скачет
объявить наконец:
"О тебе твоя родина плачет".

3

В ветра налёте и ропоте
что-то смиренное есть.
Низко клубящейся копоти
осенью негде осесть.
Осенью время от времени
нас холодок заставлял,
вдруг пробегавший по темени,
вспомнить лубянский централ

вместе с повесткою серою.
Было в ответ на кивки
очень с двумя офицерами
скучно играть в поддавки.
Вдруг предложили условиться,
вот и бежал. Под крылом
пахло словенской сливовицей,
Австрию мыло дождем.

Помню свой первый подброшенный
гривенник с местным орлом
и растревоженный
клан сизарей за углом.

...Врос я тут в землю холёную.
Но за спиной узнаю
ту затяжную прожжённую
осень и юность свою:
годы служенья опасного
с благословенья небес,
за мегалитрами красного
антисоветский ликбез.

Вон они — хляби наследные,
где под сурдинку вдвоём
иерихонские медные
трубы опять о своём:
обетованное — сбудется!
Именно там
Слово придёт, не забудется,
вновь в преисподнюю к нам.

Сентябрь 1988

VI

* * *

Повилики прахообразной
крепкие стебли-лески
полузатопленный вербник красный
душат во всем подлеске.
И на холмах — от костров апрельских
дымные плешки в пепле.
Некогда — в сторону коктебельских
переносясь, ослепли
и отсыпались в вагонной тряске
после благословенья,
данного солнцем в железной маске
собственного затменья.

Гонит над гравием пламя дрока
праведный ветер к цели.
Наша душа — не душа до срока,
разве погудка в теле,
передвигающемся, лежащем,
из дому ждущем вести,
неукоснительно подлежащем
спорой наглядной мести
аспидов нерукотворной масти,
прыгающих
с карниза
и обрывающих вожжи-снасти
галльского Парадиза.

Март 1985

В ДОРОГЕ

А снизу стук, а сбоку гул,
Да всё бесцельней, безымянней.

И. А.

Вновь раскатана лента в окне
флоры Пруста и Клода Моне.
На прозрачных от зноя откосах
тень слизнула, не будь дураком,
с яблонь выпавший крап языком...
Да и вся моя жизнь на колёсах.

Словно вдруг оттопырил карман
старый томик с синодиком стран,
тайных перечнем упоминаний.
Пагинация ветхих страниц
с вереницею сходствует птиц
и количеством встреч и прощаний.

Как водилось у нас до татар,
в крошках копоти тусклый муар
занавески, подхваченной туго.
В тряском пульмане век коротать
улыбнулось, опять и опять
отрываясь от милого друга,

скажем, с миссией — из передряг
незамеченным вывезти сак
с кипой карт и рулонами лоций
и, наткнувшись на встречный десант,
басовито сорваться в дискант:
— Господа, па-пра-шу без эмоций.

Крестный подвиг тому по плечу,
кто, в глаза поглядев палачу,
обнаружил своё отраженье
из рунических свастик-значков
— в глубине маслянистых зрачков,
признающих своё пораженье.

...В ветхом томике в коже свиной,
невидимке, когда ты со мной,
а когда без тебя, и тем паче,
симпатическим прочерком впрок
задан небесполезный урок,
отвечающий общей задаче

— подготовить к разлуке навек.
Тает с веток нападавший снег.
То скользят по полозьям колёса,
то стучат, разбегаясь, они.
Этой тряски на первые дни
хватит и в домовине из тёса.

Парашюты фруктовых садов,
словно дома, устав от трудов,
госпитального духа и склянок,
над завалами корпии — в даль
смотрят на ливадийский миндаль...
И опять промелькнул полустанок.

Май 1988

ИМПРЕССИОНИЗМ

Открываешь сигарный ларец,
и летит — через студию — вдруг
щебеча по-японски, птенец
за одну из открытых фрамуг
на цветущие вишни в саду
окружном, и о том его речь,
чтобы свежие краски во льду,
как невиданных устриц, беречь.

Кто прославленный завтрак у ног
покаянно раздевшихся дам
до Второго пришествия смог
растянуть в искупление нам
и по Лете отправился вплавь
прямо в блузе апаш из пике
— тот у глаз мельтешившую явь,
как осу, удержал в кулаке.

Август 1987

ВАН ГОГ

H.G.

В поисках галльской напраслины
зря далеко не ходи:
с тёмной холстины промасленной,
как из отверстой груди,
щерится зернами тусклыми
в лужице крови гранат
на населённый моллюсками
необитаемый сад.

В пренепорочные целые
честные кельи вдали
что залетало под белые
на головах корабли?
Греет ли в ладанках кожаных
персть голубиных дорог
и виноградников, брошенных
на произвол-солнцёпек?

Ветер листает карманную
книгу от Марка и льва,
дышит в плеву барабанную
вестью, стеснённой в слова.

Поприще пройденным кажется.
Исподволь выхватив меч,
это же надо отважиться
рабское ухо отсечь!

Каждую звёздку ледащую
луда в больничном тазу
преображает в летящую
и золотую фрезу.
Смелые зело опасливы.
Робкие всех впереди.
В поисках галльской напраслины
зря далеко не ходи.

Июль 1985

* * *

Веселятся капустницы
в августовской мороке,
набиваясь в союзницы,
словно впрямь на припёке
белоштанные ратники
в ожиданье фугаса
полегли в виноградники
на высотах Эльзаса.

В европейских усобицах
с их адюльтерным мраком,
не дающим озлобиться,
ибо горек, но лаком,
— я наёмник, которому
заплатить позабыли,
у которого в коробе
лишь щепоть отчей пыли.

...За иконными горками
возле алчных границ —
золотистыми корками
окормившие птиц
мусульманские стяги на
бастионах, чья стража слепа,
и солдат Верещагина
ранцы и черепа.

Вереницей капустницы,
зря невеститесь вы,
неуёмные узницы
у моей головы.
И в предгрозие чёрное
с рябью глиняных крыш
знает дело сапёрное
работящая мышь.

Август 1985

В СТОРОНУ СВАНА

1

В парижских мансардах, сползающих с крыш,
прилежно зубрит молодежь,
что ежели крыльями машешь — летишь,
а жабрами дышишь — плывёшь
и кличешь по имени каждую ветвь,
шипами разящую грудь
в саду при соборе, похожем на верфь,
в *иной* оснастившую путь.

Смиренный ревнивец, ворвавшийся в дом,
в котором мы тоже свои,
не просто спешит настоять на своём,
но требует бóльшего. И
— и падает с вымытой гривы тюрбан
на груду персидских платков.
В обугленной шкурке несытный каштан —
вот сердце таких бедняков.

У белых медведей, считай, пацаном
в каком-нибудь энном году,
листая горячими пальцами том,
узнал я про эту беду
и стриженым дроком заросший погост.
Теперь поопасливей мы
и вглядчивей в серые волны взахлёст
и пенную холку с кормы.

2

По сетке скатился сгоревший каштан
к остывшему обручу в рже.
Над лобиком гордо взнесённый тюрбан
в колпак превратился уже,
и блуза скользнула с плечей впопыхах
ню, перехватившей древко,
когда знаменосец в мятежных рядах
качнулся, вдохнув глубоко.

Мешки баррикад образуют альков.
Я тоже когда-то спасал
едва ли не каждую ночь мотыльков,
из тьмы выпадавших в астрал,
на северо-западе отчей земли.
И ныне — сосчитанный прах,
зажгу ли в соборе, где спят короли
в рядне погребальных рубах,

тростинку-свечу у подножья креста,
слежу ли один вдалеке
с готовно открытого ветру моста,
как пашет буксир по реке,
— я, статься, всё тот же уездный барчук,
чьи зенки слепил из ларца
парижской гризетки фамильный жемчуг
и щеку щипала сольца.

18.III.1985

* * *

Напряжённая голубизна
предночная — романской весной.
В поднебесье дрейфует блесна,
чащам дрока ограда тесна,
и душист их костёр ледяной.

В трюмной копотной крипте свечей
не спугнуть бы дыханием вдруг.
С кардинальских покатых плечей
вразумляющий ток кумачей
утишает ли этот испуг?

Обруби, если смеешь, канат,
дабы выйти по тёмной реке
на морскую волну в аккурат,
на маячащий блёстко посад
меж сосновых застав вдалеке.

Зачерпнуть бы рассол в полынье,
подтянуть бы запретный тропарь,
в ускользнувшей из рук стороне
славословящий сродную мне
побеждённую Божию тварь.

18.IV.1985

METAMORPHOSIS

Уже ль отпустится
мое бесовство мне?

И. Л.

От каждой станции
и поле и откос
— весь север Франции
сурепкою зарос,
чью зыбь лимонную
готова придавить
гроза стотонная,
и так тому и быть.

Так получается,
когда своя дотоль
земля меняется
и в грудь стучится боль.
При блеске молнией
распоротых рогож
я вижу корни и
иные стебли тож.

Шустрящим сусликом,
медлительным червём

— я в землю русскую
ещё вернусь потом.
Ветрило спелую
листву распотрошил.
Я так и сделаю,
как, помнится, решил.

На полном вёсельном
разогнанном ходу
ещё по осени
по озеру пройду.
Подлещик с красною
под жаброй бахромой,
волну грабастая,
ещё вплыву домой.

За шкурку беличью
свободой заплачу,
точнее, мелочью.
А лучше прилечу
клювастым вороном
умолкнуть на меже.
Пропаще, холодно
и радостно уже!

14.V.1984

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Коричневата густая сеть
трещин на амальгаме.
Страшно мне на себя смотреть,
выжил я из ума на треть,
адресовался б к маме

— фотки б не приложил вовек
в стойбище вороное
сын — у иссякших молочных рек,
змей, заползающий на ночлег
под полотно льняное.

Разве на вешнем ветру малёк
в потной до глаз ушанке —
я, собирающий алчно впрок
на европейских камнях оброк
с каждой родной шарманки?

Впрочем, спасения тесный лаз,
как обещает Книга,
должен сужаться из часа в час,
ибо сказал Искупивший нас:
благо Моё — что иго.

Мнись и дальше, лицо, шершавь
изморозью, щетина,
голос, выведи и закляпь,
— дабы бегущая в раме рябь
стала свинцовой льдиной.

25.VII.1985

ОСЕНЬ-39

1

Моя стезя, не столь жестокая,
как ей положено по чину,
планида ровная, убогая,
с всегда попутным ветром в спину...

Как оживающая в озере
плотвица с рваною губою
или трепещущий по осени
клочок осины над тобою,

как в ласте клёна перепончатой
крепь сухожилия сурова,
— так и моя судьба не кончена,
хоть вервие её багрово.

Как в пору тёмную, мятежную,
раскатанную до молекул,
впрок собирают крупку снежную,
а не мучную по сусекам,

как обо мне воспоминание
в помехах, бьющих в цель и мимо,
— так и моё незабывание
скорее с забытьём сравнимо.

.....

Пред тем как будем смертью скручены
или уличены в повторе,
— какие токи и излучины
осолонит и примет море?

Рассыпалась ли безымянная
твоя в одесской душегубке
та бабочка, из шёлка тканная
на чесуче широкой юбки,

несут ли волны византийские
разграбленных святынь обломки
как встарь на скалы киммерийские
в холодноватые потёмки,

и всё ли слышимы уключины
на рубежах с иного краю,
где были столькие замучены
и не воскрешены, — не знаю.

1.X.1986

2

Ржою оранжевой, хною лиловою
осень посыпалась на бестолковую,
то бишь повинную.
Тлеют отвесные,
пламени тесные
рощи купинные.

Крепко за горло берёт меня русское
чувство шестое; в игольное, узкое,
сердце, ушко проскользни,
точно летучей отряд кавалерии
под парусами хоругвей в преддверии
междоусобной резни.

Плещут молитвою нашей богатого
тёмные космы Отца-Пантократора.
И пропускает лучи
с сальной каймою рядно прорежённое,
в это мгновение преображённое
благословенной парчи.

.....

Будто кто выдернул волос из темени:
стал я одним из лощёного племени
чтущих копейку
да поминающих из молодечества,
как пробирала музы́ка отечества
сквозь телогрейку.

Тело родное, земля, не трофейное,
ты не взяла моё — дело семейное, —
главное: с л о в о.
Шавка заштатная, это прознавшая,
враз замолкает, дотоле брехавшая
вслед бестолково.

20.X.1986

3

В тридцать девятый раз
смотрит сквозь линзу дня
солнечный тусклый глаз
осени на меня.

Средь ледяных зыбей,
слёзных в огне купин
маленький воробей,
щиплющий георгин,

помнит один, поди,
что — за его спиной,
знает — что впереди,
и не спешит домой.

Эй, воробей, браток
чокнутый, не робей!
Нам не заткнуть роток
горсткою отрубей.

Тихие жернова
не устают молоть,
перетирать слова
каменные — в щепоть.

.....

Выцвели гривы ив,
вытканные давно,
и померк чернослив
зыби озерной... Но

осень моя — со мной,
красно-пернатая.
Хватит тебя одной,
тридцать девятая.

10.X.1986

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Всякий день, как гляжу в окно,
вижу, что день тот — чёрный.
...То рассыпавшийся на рядно,
то сфокусированный в одно
пламени диск упорный,
необратимо вобравший нас
в тягу своей орбиты,
долго катился, пока погас,
— к клюквенным сопкам в еловый лаз
северной Фиваиды.

Ирод из отчей меня земли
вытащил, что из люльки,
дабы один на один вдали,
как воробей в водяной пыли,
ждал оловянной пульки,

и в чужеродном раю мирском
на полотне ночуя,
переносился одним броском
— и припадал восковым виском
вдруг к твоему плечу я
там, где идти — всё равно, что жить
долгую жизнь вторую,
ибо — сдувая паучью нить,
надо на каждом шагу творить
понову отходную.

Июнь 1985

БРИТАНСКИЕ СТАНСЫ

Чепчик счастья — Шекспира отец.

О. М.

I

Как в рану под бинт,
червь переползает опасный
в сырой лабиринт
тюдоровской красной...

Суровая! На острие
рапиры грешна, как на ложе.
Зане и само бытие
с чумной червоточиной тоже.

II

Спасибо за тень на стене,
энергию сплина,
ночлежною ночью вдвойне
спасибо, чужбина,

за то, что ты есть,
как пробуешь вспыхнуть от гнева,
лишь спичку поднесть
к соломе хором или хлева.

III

Три ведьмы сошлись на предмет
вконец заморочить Макбета.
Души молоко его — вслед
им скисло ещё до рассвета.

И тысячу лет
сближаться ей сомнамбулично
с таинственным Тем, кого нет,
чтобы разминуться привычно.

IV

Отрубленная голова
царя — глазированный пряник.
Тут каждый актёр в окрова-
вленном одеянье — механик

из хроник. Тот главную роль
играть удостоился чести,
кто в майскую бурю дотоль
стучал колотушкой по жести.

V

Пространство не гасит огней
и учит ленивых спросонок
всем ходом казённых ремней
и зубьями всех шестерёнок,

что, дескать, пора, господа,
рассыпать холерную хлорку
по сцене — и тем без труда
рассеять партер и галёрку.

VI

Под карканье кравчего при
дворе никому не известном,
где если отведал — умри
на факельном пиршестве тесном,

а не от прославленных ран,
тоскует безвластный,
росой окропленный кочан
тюдоровской красной...

VII

В сколоченном крепко дому
из холодноватых потемок
я бережно в руки возьму
сырой корабельный обломок.

Хранись в очаге
под плёнкой огня и раскаты
громов вдалеке,
обрубок великой Армады.

VIII

Моя немота влюблена
в наименованья.
Дождей пелена
да ветра стенанье

схоронят в пути.
И возле ограды,
руно нагуляв, во плоти
пасутся монады.

IX

Перевоплотилась душа,
но помнит себя под началом
ракушечника, катыша
и берега с серым причалом.

Десант по колено увяз
в песке под победные крики.
И ветер повалит сейчас
его алебарды и пики.

X

Раз с неба заметили нас
подтаскивавшими орудья
под стены его, устрашась,
что не избежать правосудья,

мы всю анатомию, всю
приводим в движенье молоку,
— чтоб выложить тяжбу свою
на тросах парящему Року.

XI

Когда осуждён повторять
за черепом, что перед нами
из будки суфлёрской опять
чего-то проклацал зубами,

чтоб с голоду не помереть
и снобам понравиться в ложе,
— как будто охотничья плеть
любовно гуляет по коже.

XII

Тот смолоду был бестолков,
кто не браконьерствовал в чащах,
не ставил силков
на певчих скворцов говорящих

и не поднимал на заре
всю труппу на взятие мира.
...Под этой плитой в алтаре
покоятся мощи Шекспира.

XIII

Зелёная в вешнем цвету,
холодная и осыпная
на ярко-свинцовом свету
Британии толщь островная

кренится за валкой кормой.
И скопом кричат небылицы
прощально — над массой морской
какие-то белые птицы.

Май 1987

НА ОБРЫВЕ НАД МАССОЙ МОРСКОЙ...

На обрыве над массой морской
тлеет палевый дым на стволах,

словно кто-то любовно рукой
сеет бедного Йорика прах...

Мощи в братской могиле его
с мирной девы мощами лежат,

ничего у них нет своего,
каждый в общую яму зажат.

Няньке принца, шуту с бубенцом,
потешавшему знатно народ,

вечной жизни горячим свинцом
запаяло осклабленный рот.

А Офелии сольную персть
ледяными ключами со дна

обдавало пророчески здесь,
чтоб осталась и *там* холодна.

Треплет ветер на ветках цветы
над из грубого камня крестом

у заросшей крапивой плиты
на придворном кладбище пустом.

Разве сослепу ткнётся овца,
но и ей разобрать не дано

ни почивших имён до конца,
ни суммарную дату "давно".

...Мёдом повар приправил кутью
или ядом, исправно служа,

отгадай поди, всеми пятью
над пучиною череп держа.

О, дождем и ветрами кремень
полированный лобной кости,

конденсирующий светотень,
переполненный током, прости!

Статься, ты тут и мыслишь один.
Провещай же — что ждёт впереди
в тесноте гробовых половин

эту боль, что за столько годин
в преизбытке скопилась в груди.

Май 1987

* * *

На покатом холме, за которым родился
за четыре столетья Шекспир,
три прославленных ведьмы, я оговорился,
три овцы у излуки тропы
в солипсической праздности...
И островная
непогода ласкает: пойми,
я холодная, влажная и затяжная
— над цветущими яблонями.

Хлещет дождь по колючей и серой соломе
крыш в британской глуши.
Сколько спорных моментов в простой аксиоме
о бессмертье души!
То она, перепёлке в силке подражая,
улетает, спеша.
То с тобой —
но уже не твоя, а чужая
погибает душа.

За тесовым столом, хлебосольным и липким,
тени жертв заседают и, спор
завершая, осклабленные улыбки
травоядным в укор.

И дурманит профана среди посвящённых
в тесной горнице той
запах роз
прошлогодних и распотрошённых
в оловянной тарелке простой.

...С запозданием задрапирован в багрянец
пастырь добрый своих дочерей,
синелицый от молний великобританец,
Божий раб и владыка морей.
Вижу, старче, твоё королевство в развале,
но ещё обреченней моё
тридесятое царство.
Мы на перевале
перед рампою — в небытиё.

Место ссылки низверженных — сад свежелистный
где-то на рубежах
между сценой слепящей и тьмой закулисной
с вороньём на межах
и летящими хлопьями, из-за которых,
оставаясь в живых,
не докличешься тонущих
в медленно-скорых
массах палевых волн штормовых.

Май 1987

ДИПТИХ

И. П.

1

Помнишь, едва ль не фамильный
на подоконнике том?
Молнии блеск замогильный
за подмосковным окном,
вдруг озарявший в сторонке
грозный бивачный вертеп
иль усыплённой веронки
незапираемый склеп...

Всё ещё держат над миром
нас на плаву, на весу
давнее лето с Шекспиром
и голубикой в лесу.

...Но неужели, где сонный
шершень ползёт по стене,
всё ещё не усмирённой,
в сомнамбулическом сне
голой под утро хозяйке
жарко от рыжих волос
и в козлорунной фуфайке
Макбет живёт на износ?

Если душа — христианка,
то христианка вдвойне
окровавленного Банко
тень в иссечённой броне.
Спи, по прославленной ране
опознаваемый вдруг
в гостеприимном бурьяне
памяти
преданный друг.

Июнь 1987

2

Сливовый сад с синей листвой,
смородиновым подлеском.
Небо стотонное над головой
скоро расколется с треском,
каплями крупно кропя.
Мы ещё зелены оба...
        Помню тебя
там, под струями потопа,
что водопадной стеной
нас окружали.
Где этот миг? На какой
видео выбит скрижали?

В доме темней и свежей
с окнами в марлевых сетках.
Розовый червь на меже,
сонные слизни на ветках
и непросохшей тропе
в экологической нише.
Слышишь, теперь
        ближе
— над костяным молоком

непотопляемых клавиш
та затрясла кулаком,
чьих партитур не поправишь

и не притупишь косу.
Не из того ль полонеза
два мотылька на весу:
тяга к тебе и аскеза?

Ветвь оттянувшие вниз
перебродившие сливы
так вот под режущий свист
тех электричек и живы...
Так что закроешь глаза,
и, как наследная рента,
тряско проносится за
веками — дачная лента.

Ты меня выбрала из
целой богемной плеяды.
Ливень обрушился вниз,
и ослепляли разряды.

Август 1987

ЛЮЦЕРН

И там огни дрожат,
Где проступает тленье...

И. А.

У заброшенного мола
на ветру со всех сторон,
чье воинственное соло
переходит в хриплый стон,
смотрят сны судеб босяцких
наших — около камней
чайки, что на спинах царских
примостились лебедей.

Брезжит свет фаворский горний,
и зазывно далеки
над пучиною озёрной
Альп с их музыкою чёрной
призрачные ледники.

...Схож с походным лазаретом
просквожённый променад.
Знать, пронюхавший об этом
в месте злачном в аккурат
ворон тучный в листьях палых,
ковыляя, ищет снедь.

Тлен спрессован в их обвалах.
Но и в наших душах малых
есть таинственное ведь!

Влито в каждую излуку
столько нежной желчи там,
что зачем они друг другу —
не понять вовеки нам.

...За ледком воздушной массы
все особенности расы
белой — в сумерки видней
и похожие гримасы
дрёмных — в дрейфе — лебедей.

Ноябрь 1987

ЛИГЕЙЯ

Токи Женевского озера за
серой завесою.
Пиротехнические чудеса
ей антитезою.
Пальмы пожухли, кроны красны
клёнов и ясеней.
И набегает в пользу казны
с каждой балясины.

Пансионат полупустой,
что-то зловещее
есть в довоенной добротности той,
тоже и вещее.
То дребезжит с ложкой стакан,
то раздирающий
слышится крик "грум, чемодан!",
сразу смолкающий.

Ручкой дверной — это ко мне
— тихо скрипят.
Леди Лигейя в холодном не
скользком шелку до пят
входит из тьмы в бёклинский свет,

что с безразличием
осеребрил каждый предмет
трупным величием.

То шелестящее вместо слов
стихотворение,
словно подспудный зазывный зов
на погребение.
Тронуты ржавчиною хризантем
комья кудрявые,
полупоникшие, а между тем
и величавые.

Леди Лигейя лицом к лицу
шепчет, и в этом вся,
как ясновидящая слепцу:
— Скоро увидимся.
Вновь узнаю её шею, грудь
слабо покатую,
к сердцу наикратчайший путь,
если просватаю.

...Вижу холёные пяди земли,
блёсткие топи я.
Припорошённые Альпы вдали
дозами опия.
Засветло огоньки зажжены
— на берегах —
девы Женевы, Лозанны жены
прах серебром пропах.

Сентябрь 1988

* * *

Греясь в бесснежное олово,
лезут друг другу на голову
чайки в прожорливом раже.

Как на звезду Вифлеемскую,
катит в империю венскую
райский гонец в экипаже.

Снова сойдясь врукопашную
с клавиатурою страшною
каждой костяшкой с костяшкой,

кто там ему позавидовал,
ибо бессмертной не видывал
сроду души под рубашкой?

Или сама благоверная
хлорная известь холерная
не помогает и за

грош уступает богатому
негоцианту рогатому
в чёрном плаще по глаза?

.....

На родовые с секретами
склепы, кофейни с газетами
и на Дунай, голубой

разве твоими молитвами,
— из преисподней с пюпитрами
льётся игра вразнобой.

Январь 1986

ВДРУГ АЛЬПИЙСКИЕ ГРЯДЫ ЗАЖГЛИСЬ...

I

Вдруг альпийские гряды зажглись,
окаймив заснежённую даль,

словно рыцари там собрались
и пустили по кругу грааль.

Снова к Ерусалиму отряд
снаряжается верных теней.

Через прорези грозно глядят
зачехлённые морды коней.

Божьи воины, будто дрозды,
в ниспадающих мантиях, на

чьём шелку шевелятся кресты...
И неярко горит купина.

II

Грех покуда роптать на судьбу:
мне ещё голоса говорят

из пространств — где в прозрачном гробу
звёзды в тело скрепленные спят.

Правда, жили когда-то со мной
отлучённые дети мои.

На морозе цвёл столп соляной
всеми лапами белой хвои,

и валились, валились с небес
в беспричинном обилье снега

непроглядные наперерез,
не мешая пуститься в бега...

III

Грот-молельня со стайкой свечей
притулился меж скальных кулис,

и ручей
обрывается с грохотом вниз.

Богородица там в глубине —
звездчат нимб и облуплен хитон.

"Ave, Mater" на влажной стене
— для сиротского сердца закон.

Духом крепки, и плоть не ветха,
изнутри серебром налились,

словно в недрах их дышат меха,
— вдруг альпийские гряды зажглись.

Март 1988
Mittenwald

ПОДМАЛЕВОК ДЛЯ КРАНАХА

Когда под вечер дома
спит львица на ковре

и ирис, в толщу тома
закланный в октябре,

костры небес пылают
— как будто за версту

усердно прибивают
еретика к кресту

сквозь факельную копоть.
И головой на грудь

распятый пав: "Европа!
— еще успел шепнуть,

— твое святое тело
за наш недолгий брак

заметно раздобрело,
но хорошо и так.

Не раз от плеч до паха
лощины и холмы

холодные от страха
оглядывали мы,

как будто волн под снегом
перекипание,

что докатились следом
за мной в изгнание".

...Не торопясь, из наших
багрец струится ран.

Клубится потерявший
маневренность туман.

Как соляные копи,
распадки Альп во льду.

И души просят опий
от всех мытарств в аду.

1988

АНГЕЛ

Н.

Молочные тёмные железы
альпийских громад вдалеке.
Дрейфуют у берега селезни
и лебеди в снежной реке,
которых относит течением
над отмелями ключевым,

когда золотое сечение
померкшего солнца над ним.

Тут Тютчев, сходя за повытчика,
зонтом прикрывался в метель,
смирившийся хаос — во взрывчатый
с поспешностью пряча портфель,
как будто от тайной полиции
исхоженной Богом земли.

Что ждало его бледнолицую
тогда баронессу вдали?

...Поставь же стопу безуспешную
на хрупкую кромку ледка,
с той ивою правобережною
на крик перейди с шепотка,
как ежели видишь хранителя
в гнездящемся ангеле том
— бессильного освободителя
с спадающим в реку крылом.

Апрель 1986

* * *

С серым томом Генри Джеймса
убежим с тобой
на далёкий прииск леса,
прежде золотой.

Отпуская из кубышки
жалких духов в путь,
палый лист в туманной книжке
навсегда забудь.

Несмотря на станционный
на клочке резон
"Кончен навигационный,
господа, сезон",

на воде сидящий постник,
то бишь на угле,
вплавь зашлёпает колесник
по озёрной мгле.

Только ткнётся лебедь дремный
головой в крыло,
знать, за пазухою тёмной
у него тепло.

— Божий раб, слуга престола!
— аттестуюсь я
у бревенчатого мола
инобытия.

Ола! Ола...Эдак эхо
с оловом во рту
пожелает нам успеха,
рухнув на лету.

И прильнув к оконцу с воли,
благо между рам
погребен стаканчик соли,
что увидим там?

Октябрь 1985

* * *

И мы в этой стае пернатых.

Хлебников

Кладу на озерную зыбь ладонь.
Не тонет ладонь — крепка
зыбь, продавишь её с трудом
разве на полхлебка.
Уже рябины окрест красны
с оттенками хоть бы хны
ржавыми; и хвоя сосны.
Порывы дождя пресны.

Поднимают чайки над молом грай.
Подремав с удой,
на прикол в таинственный грот-сарай
гонит мимо яхту богач седой.

Эх, чудак везучий. Господь решил
даром нас почествовать в аккурат,
но не там, где я завсегда спешил
запахнуться в стёганку и бушлат
над сухой крапивою в ноябре
у холодной церкви, где шорох-лёт
сизарей с воронами в алтаре
и цементно-цинковый их помёт.

Бело-красным, осень, дрожа крылом,
чередом своим уплывая вдаль,
подожги пером
мой острожный дом,
чтоб меня там вспомнившим стало жаль.

.....

Гарцует на Псковщину ль пёсий отряд,
султанными холками выстроясь в ряд,
закован в зеркальные латы,
снежинки ли первые косо летят,
как будто достигнуть земли не хотят,
— и мы в этой стае пернатых.

1985

VII

С ЮГА НА СЕВЕР

Снега забытых деревень,
Неволей выжженные степи.

И. А.

1

Даром во мне
говорящий проснулся скворец,
словно в окне,
за которое смотрит слепец,
снова бледна
квадратура горы голубой
и вплетена
ночью роза в калитку домой.

Вспомни опять,
как валун гробовой отвали,
каждую пядь
из-под ног уходившей земли
мерой с версту,
где когда-то бровастый дебил,
с кашей во рту
не справляясь, последних споил.

Стиснутым ртом
заглотнуть бы волну ковыля.
С крымским хребтом
перебитым родная земля
— до Соловок
с их железною данью камням,
и на совок
ты уже не расщедришься нам.

2

В раковины заложена
памятная музы́ка
волн, шелестящих в крошеве
яшмы и сердолика,
хоры и песнопения
гарпий, сирен, эриний,
майского шелест тления
и соболиных пиний.

А в роговицы вкраплены
росы и брызги с вёсел,
гнавших волну к ослабленным
остовам скрипких сосен.
Огненная на северо-
западе головешка.
Где ни шмеля, ни клевера,
там и моя ночлежка.

Ныне планида ровная,
музыка безусловная,
ежели не рехнёшься,

выйдя в пространство тесное,
новое, нежно-пресное,
— в нем и самосожжёшься.

3

Серый мираж
одного из открытых миров:
крашеных барж
и комичных напряг катеров.
Маленький галл,
ощетинивший ёжик волос,
с красным бокал
на серебряном блюде принёс.

Что ж... Помянуть
не мешает не эдак, дак так
ветер по грудь,
над которым алмазный наждак,
валенок гниль
и кровавый лишайник в пазу.
Как там ковыль
шёлков, к морю гонимый
в грозу...

Гадко сладка
была жизнь, как и должно
родной,
издалека
призываемой дудкой немой.
Но не ропщу,
ибо — счастлив и словом зачат.
Но не пущу,
если понову в дверь постучат.

Март 1986

* * *

На родной земле
и крыло в золе
— рычажок полета.
Прах отцветших лип
в кипятке прошиб
до седьмого пота.

Жизнь моя там — знак
вседоступный — как
поступать не стоит.
Василек, репей —
окоём степей
дождь скупей напоит.

В полынье небес
ловит русский бес
не сома, а тюльку.
Я б воскрес и сам,
если б маме там
подменили люльку.

От моей игры
саднит с той поры
на локте лепёшка,
колет клещ в плече.
И прямей в луче
на отпев дорожка.

1985

ПАМЯТИ ДЕТСТВА

1

В расщелине облака дым
клубится густой на плаву,
как будто прикрыл серафим
пернатым доспехом главу.

И снится ему
    под брюхом иная земля,
— не та ли, что мне самому?
С младенческим тальком поля

бесплодные — с первым снежком,
взвихрённым над поймой реки,
где просят супцу с потрошком
    с погоста купцы-старики.

Я пёк там картошку в золе,
    чей жар посегодня во рту,
играл на бесхозном дворе
    с потомками красных в лапту

и сколько бы сытно ни ел,
затягивал туже ремень
и из-под ладони глядел
    на главку с крестом набекрень

и громкий вороний кагал.
Давно из игры
той выбыл я, облюбовал
иные миры.

О облак! Один на один
  со всем, что ты видел на днях,
легко ли тебе, господин,
в альпийских кончаться камнях

с обрывками снов не своих?
  Лесисто глубокое дно
у сколов кремня осыпных,
  где полутемно

и тает последний дымок
  с последним трофеем навек:
то радужной дужки рывок
  навстречу кресту из-под век.

2

В глазах колокольчиков рябь
  с иваном-да-марьей взахлёст.
Репьём заросли погреба
  погоста с крапивою в рост.

С малиной парным молоком
  рок мальчика впрок напоил
полярно и недалеко
  от тех безымянных могил.

...И вдруг открывается дверь
  в чистилище, звякнув крючком,
где занят ещё и теперь
  топчан говорящим сверчком.

Те сны, удлинявшие дни,
  не видные даже родне,
и стали закваскою... И
  они и посегодня при мне.

В сосновом бору
  ворон растревоженных грай,
как будто им не по нутру
  отечества шаткий сарай.

Я пёк там картошку в золе,
  чей жар сохранился во рту,
играл на бесхозном дворе
  с потомками красных в лапту

и пыль поднимал, городков
  враз палкою кон раскатав,
снетком ускользал из садков
  в речной зарябивший рукав...

Летите ко мне напролом
  из той тишины, голоса.
Слепите толчёным стеклом
  над той темнотой, небеса!

Пернатым доспехом-крылом
согрел серафим полюса.

Июль 1988

* * *

Твердокаменный грецкий орех,
в сохлой шкурке двойной арахис.
В гримировочной спешка и смех
за хоругвями чёрных кулис.
В свежебритую щеку отец
отчуждающе пудру втирал.
Из вагона: "Мужайся, малец!"
— повелительно шляпой махал.

Разучился я в горле катать
ком поддельный, коль хочется есть,
стал забрасывать строки в тетрадь
и ловить их ответную лесть.

Но под колющей крупкой из туч
после приторных взвывов валторн
оказалось — один и живуч
неподкупный кладбищенский дёрн.
Знает Бог, за какую вину
невесомую ношу нести:
материнское — в спину — "кляну!"
И отцово — на ухо — "прости".

Март 1985

* * *

Розовые гребни колышет
отдалённая осенняя роща.
Ежели прислушаться, слышно
шелест их тончающей толщи.

Не душа ли, ежели приглядеться,
тает в небе, загребая крылами?
Остывающая, хочет согреться,
на прощанье покружиться над нами...

О иововый мой вопль на руинах
самой падшей из наземных империй!
— где усато нерестятся в глубинах
джугашвили и лаврентия берий.

...Потерял — и ту, с которой рыбачил,
лодку, полную воды не на шутку,
и окрестный, только дробью подначил,
гром, сразивший перелётную утку,

и подруги, что казалась смуглее
от теней, всегда летевших навстречу,
потускневшую цепочку на шее,
каплю крупную — потопа предтечу,

твердоствольные репейники, пижму,
чьи под копотью фабричной соцветья.
...Сам себя не узнаю, как завижу,
под лохмотьями того лихолетья

— ни мальцом, ни мужиком мутноглазым.
На погост пора спровадить зануду
с вразумляющим примерным наказом.
Но и при смерти расчетливо буду,

Отче, верить, что выносит кривая
вновь туда, где на правах самозванства
вавилонский городской голова я
и губернский предводитель пространства.

Сентябрь 1987

* * *

I

В алом, готовом осыпаться вскорости
с веток на влажную жесть,
что-то от энной безрадостной повести
честного Чехова есть.
Ибо и впрямь, затяжную, вчерашнюю
непогодь, сидя без свеч
в тесном именьице, хочется, кашлянув,
Ниной Заречной наречь.

Там на пространствах с ненадолго вкрапленным
в волглую толщу огнём
ты прикоснулась холодным расслабленным
ртом к моему под дождём.
В те же минуты на сотки бесхозные,
вырвавшись из-под колёс,
от полустанка свистки паровозные
ревностно ветер принёс...

II

В те палисадники к георгинам
в каплях дождя — вернусь
в пику уже улетающим клином
днесь журавлям... Мисюсь,
где ты? И, не дожидаясь ответа,
снова: Мисюсь,
где ты?
И тишиной обожгусь.

...Волглая изморось светится на
дугах шиповника,
словно в тумане поставлена
верша садовника.
И подвывает лишь тишина
ржавым петлям дверным.
О невидимка! Русским славна
гонором жертвенным.

III

Чайка кричит в молоке непогоды,
словно у ней
роды,
около тусклых огней
славного ялтинского променада
с барской ротондою той,
где нас волной обдавало когда-то
раньше раскидистой.

Или прощальные хрипы
в чеховских лёгких — к мадам
Книппер
вновь адресуются там?
Помнишь — бесшумно махина
с пирса снималась при нас
и стебелёк стеарина
в храме приморском погас...

Октябрь 1989

ОХОТА

Отцветающий крин
заболоченных сопок озёрных.
Там один на один
сторонился я заводей торных,
загребая веслом
на стеблях дрейфовавшие листья,
то-то задним числом
затянули б, цепляясь, — вернись я.

Еле вспыхнув, погас
луч, нашаривший валкую лодку.
Столько смолоду раз
обжигало лужёную глотку,
так обложен язык
был с утра — что ещё и доныне
замурованный крик
в прибережной троится руине.

...Снится сквозь зеленцу
акварели землистой,
словно шелест слепцу,
парусинящий дождь шелковистый,
под которым серо
стлались россыпями незабудки
и пласталось крыло
коченеющей утки.

20.IX.1989

ЕСЛИ ВЕТЕР СЫРОЙ...

И. Сударкину

Если ветер сырой,
если тучи подгнили свинцово,
пробегает травой
дождевая нездешняя мова,
отвяжу-ка гремучую
цепь, от волн окормляясь.
Выйду в море колючее,
с заштормившим сшибаясь.

Расщеплённым куском
было жизни делился как целым
с чайкой — с каждым броском
зависавшей надолго над Белым.

Розовей полоса
и роса на зелёной соломе.
До седьмого часа
не успели очухаться в доме.

Нынче, брешут, видней
на уступе с гранитной пятою
остов лодки моей
с деревянною клетью грудною.
И подлесок седой,
верестясь, можжевелясь, осинясь,
наступает грядой
на змеиную ржавую привязь.
Только чайка всё та ж,
может статься, а может, иная
— ждёт,
подкину когда ж
тусклопёрую рыбку со дна я.

Август 1985

КАК ПО ЛЕТНОМУ ПОЛЮ

Как по лётному полю
с травой под зелёною сетью,
память водит лучом
несгибаемым по лихолетью,

выбирая из тьмы
то волны мертворожденной всплески,
то синицу в обобранном
полном тоски перелеске.

Словно шанежку съел
на архангельском тощем базаре
и вконец забурел,
примостясь с папироской на таре.

В настоящей тюрьме
эдак только и грезят о воле,
перемётной суме,
Роще Марьиной, Девичьем Поле...

Приведёт ли Господь
поудить, поохотиться в сонных
камышах наступательных
около стен оборонных

перед тем рубежом,
где, не дав отдышаться доныне,
полоснула ножом
зорька росная по горловине.

7.VIII.1985

ПТИЦА

Неулетаемо крыльями прядает
птица в пространстве сыром,
заворожённо взмывает и падает
над проряжённым холмом
ржавыми рощами.
Если б не тернии
под напряженьем границ,
я бы бежал до родимой губернии
светлых от снега темниц
— той, что в повстанческом честном усилии
первая изнемогла
и в колеснице у красного Илии
спицей десятой была!

Впрок запасенное и полотняное
в берестяных сундуках
тлеет её бесприданниц приданое
на заводских берегах.
И повсеместно речные жемчужины,
высыпав на образа,
тоже в коптящие свечи вутюжены,
выжаты девам в глаза.

...К лону бы ухом прижался, а мокрую
щёку сушил на ветру,
Христолюбивое, стало быть, строгое
воинство ждал поутру
и не дождался б.

Лишь крыльями прядая,
птица в оконце седом,
завороженно взмывая и падая,
напоминала б о том,
что ведь и наша душа не привязана
лыком навек к топчану,
что и её перейти предуказано
мизеру — в величину.

Ноябрь 1985

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В уксусе пламя жемчужное
— солнце варяжское, вьюжное
    в пору затмения.
Площадь с трусящей волчицею.
И над безлюдной столицею
    райское пение.

Дóма! Взбегу-ка по лестнице
к милой (и славно, что в плесени
ручка дверная),
забарабаню костяшками,
как там у ней под рубашкою
    крестик, гадая.

В лампы с фарфоровым парусом
и потускневшим стеклярусом
    круге зеленом
дай, словно маленький, силу испробую,
сжав в затупившихся щипчиках с пробою
    сахар пилёный.

Память — река с ледяными заторами,
если уехал — тони под которыми
впредь до подъема
в знобкое утро Второго пришествия

с преданным привкусом счастья и бедствия,
стало быть, дома.

Стёкла с крупицами.
Кладбище с птицами
за снегопадом
с ветками липкими,
тропами скрипкими.
Родина рядом.

3.I.1986

ЗЕМЛЯ

Е. Марковой

1

Какою горечью
впрок душу напитала
мою невольничью,
когда б ты только знала!

Поля лоскутные
к военным поселеньям
впритык и людные
по воскресеньям

погосты с хлопьями
вороньих стай галдящих,
ограды с копьями
вокруг на дне лежащих.

...Раздав имение,
юрод и богомолка,
в своих владениях
мы бедствовали долго.

Изгой и пария,
подслеповато,

поддав, кемарили
под боком у заката.

И возле осыпей
ворсилась перед нами
рожь низкорослая
с седыми васильками...

О оскудевшая
и испитая,
когда-то тлевшая,
теперь сырая,

по праву сына я
в чьём чёрном списке,
земля единая,
хотя в раздрызге,

и неделимая,
не отражая,
шепчу: родимая!
— тебе, чужая.

2

Желток ампира с мордой львиною
в ноздре с кольцом.
Я пацаном стою с повинною
перед крыльцом.

О пир для глаз!
Но слеп сегодня я.
И преисподняя
не отпускает нас.

От каждой вещи
разит бедой.

Позднее позднего мне смысл открылся вещий
    приниженности той.

Росли в провинциях емелями.
    А в грозный час
на стенку стенка шли с портфелями,
и вожаки блатными фенями
    подбадривали нас.

И так сходились врукопашную,
    что было на весах
победы потных однокашников
цыплячье, — но тем паче страшное
светило в небесах.

Кажись, кому именья розданы,
    тому служи.
Но в сумерки грозноморозные
куда-то юркнул неопознанный
    зверёк с межи.

    Мы — однолюбы
    в который раз.
В который раз архангельские трубы
    оповещают нас

    о днях коклюшных.
    Прожорливая тать,
особо жалкая в своих посулах ушлых,
земля родимая, ты приучила душу
    чего-то ждать.

Ноябрь 1987

ПАМЯТИ Е. С. ГРАМАТИНСКОЙ

Память расколется
шпату подобно,
и приоткроется
в сколе подробно:
ранний оброчный
иней на прядках
при полномочных
тёмных лампадках.

Поднял Креститель
трепетно длань.
Ежась, Спаситель
встал в Иордань.
Густо на ели
двух берегов
вдруг полетели
хлопья снегов.

Маслом на своде
этот мираж.
Шепот в народе:
"Господи... дашь..."
Пламени холки
в стане свечном.
Словно иголки
в нерве личном.

Где теперь люди?
Где им кресты?
Горлом в остуде
с дальней версты
в стихшую заметь
ей подпою
Вечную Память
небытию.

30.XI.1985

* * *

Мальчиком суриковским за ссыльным
я бы бежал возком,
сам бы казался себе двужильным
с батиным образком
на ремешке сыромятном потном.
Поименитей нас
клали поклоны в поту холодном
да и с трезоркой делить голодным
рады съестной запас.

Ночи до места ведут тропами,
ежели по пути
с посеребренными кочанами
поля-перекати,
над снеговыми верхами елей
слившимися в любви.
Как попускает телец Аврелий:
"Терпишь — тогда живи".

И принесет на хвосте сорока
или хомяк в зобу
жданную весть о повторе срока
радостному рабу.

Мы — страстотерпцы одной артели
в море, тайге, степи.
Как понуждает телец Аврелий:
"Если живешь — терпи".

Вот уже третий лежит в руинах
Рим.
Нерестится в его глубинах
христопродавец-зверь.
Плюш обветшалых салопов тяжек.
Нам ли утробно просить поблажек,
родненькие, теперь?

Октябрь 1985

* * *

Где-то на рубежах синевы,
где грачи-печенеги,
и валы крепостные, и рвы,
манна града апрельской травы
побивает побеги.

Манна града и крошево льда
уносимого — или
ветхих вётел новы невода
по-евангельски были...

В тусклом небе опять
разгорается пламень лохматый,
и с орбиты его не согнать
стрел всех стае пернатой.

На стене, по холмам
с амбразурами в копоти пегой
неприступно змеящейся там,
потягаться бы нам
хоть и с паном Сапегой.

.....

Слушай на ухо: суть
путь из варягов в греки,
тоже и мой путь.
Словом — тебе на грудь
издалека навеки.

Грохот товарняков
стих в черепной коробке.
И от подснежников
бело-лиловы сопки.

Где-то на рубежах
тёмных — к меже межа
и глубоко в могилах
сумеречно свежа
(братская же с ножа!)
кровь голубеет в жилах.

Апрель 1988

ИВЫ

С наклоном стриженой головы
надгробный мальчик беспечно спит...

1977

Ивы ищут зеркального броду,
их русалочья тяга слепа.
И в слоистую сыплется воду
световая — сквозь гривы — щепа.

Провожальщицы конных и пеших,
словом, всякого, кто тороплив,
жены-ивы с куделью затлевших
и прилежно расчёсанных грив.

*

Раннемартовской постной триоди
шепоток, наставляющий в путь
крёстный — ивы в который проводят
по колено, по пояс, по грудь...

Кем приходится им прикорнувший
нагишом на могильной плите
пастушок иль с откоса нырнувший,
утонувший пловец в пустоте?

*

Не жезлом ли железным пасомы
и рассеяны эти стада?
Дебаркадеры, баржи, паромы
— снятся си́роте и в холода.

А ещё затекают под веки
между накрепко смеженных доль
в вьюжном мареве серые реки,
столь же быстрые, сонные сколь.

*

Угловатая выгнулась узкая
клеть грудная, крепка и слаба.
Мне слышна и отсюда — тарусская
неизбывная в ней колотьба.

Словно мне там, когда очищается
гладь от перекипевшего льда,
с переправы кричат "Отправляется!"
и душа понимает — *куда.*

1987

* * *

В кассе лимитная бронь
в Забытославль позабыта.
Великопостный огонь
рвётся из сопла зенита —
помню — за тусклым стеклом
старых купе над багровым
вербником с березняком
призрачным многодревковым...

Всё прибывающий наш
на сердце средневековый
странствий тех километраж
— стойкий мираж жемчуговый.

.....

Памятен персик резной
и абрикос на апсиде.
Он и теперь надо мной —
белый огонь на орбите.

Ты без греха и теперь,
хоть далека и забыта.
Верно в купе твоем дверь
Господу Богу открыта.

...И за размывом стекла
вербных дружин вереницы,
кои растрёпом крыла
в будущее звала
средневековая птица.

Апрель 1987

* * *

Но от века желанное нам.

А.

Солнце в воздухе вешнему верное
перетлело до лобной кости.
Зябко ивам
и зарослям вербным
серобархатным знобко цвести.

Были ризницы наши разграблены,
так что глаз от них не отвести.
Были наши ладони расслаблены
с ледяною капелью в горсти.

И глушил нараставший непрошенно,
иссякавший бесшумно вдали
шелест великопостного крошева
в переполненном русле Нерли.

Словно смолкшая наша вербальная,
сквознячками продутая речь
ивы встречные
и вербы дальние
обещала пасти и стеречь...

Из зенитной таинственной скважины
шло свечение тусклое, и
нежной музыкой обезображены
были лучшие годы мои.

Это там уже неотторжимое,
навсегда отчуждённое — там,
может статься, насильно родимое
истреблённое неистребимое
и *от века желанное нам*.

Март 1987

СУДЬБА СТИХА — МИРОДЕРЖАВНАЯ...

Судьба стиха — миродержавная,
хотя его столбец и краток,
коль в тайное — помимо явного —
заложен призрачный остаток.

Нерукотворное содеется
и до конца не дастся в руки,
спасётся — не уразумеется
ни встреченное, ни в разлуке.

Казалось бы, давно за скобками
судьбы — Отечество и вера
в орла с змеиными головками,
как всякая земная мера,

ан, с вьюгою разноголосою
скольженье по тропе неровной,
что танец с голубоволосою
Елизаветою Петровной.

...Когда и тайное и явное
в силке забьются шелкокрыло,
на воле уцелеет — главное,
чья неопределимость — сила.

Участники того тревожного
дворцового переворота
— мы, алчущие невозможного
ползка, броска и перёлета.

31.XII.1987

SARABANDE

I

Георга Генделя музы́ка роковая,
как наступательная поступь звуковая,
    как смерть под барабан.
И солнце снулое, и ветер взвывший
сдувает с зеркала снежок, запорошивший
    поверхность стран.
Необратимая, позолотила
    руно ты париков
на гладких черепах, скользящих, как перила,
тобой толкаемых — а впереди могила —
    танцоров-стариков.
То рассыпается, то стаею кружится
    над чащей воронье.
Пред тем как лечь костьми, должны вооружиться
музыкой дробною мы, воодушевиться
    накатами её.

Шеренгой юноши, на выданье девицы,
чьи грудки жалкие атласный вспенил лиф,
с полярным космосом сравнимые куницы,
фламинго сонные, подвижницы-синицы
и попугай-халиф

    — из упомянутых кому не страшно
    тут на земле
    пред рукопашной
    с музыкой важной
    в предвьюжной мгле?

Давно закопанным — и то там слышно
то топ ударных, то — завывы духовых.
Припомнить выпало, а позабыть не вышло
    жемчуг и вишню
    румян твоих.

II

Волной воздушною, атакой лобовою
и барабанною музыкой боевою
    из гнёзд взметнуло нас
скользить по воздуху... И после снегопада
искусный механизм архангельского сада
функционирует невидимо для глаз.
...Такая тишина, что белка на тропинке,
пушистый хвост прижав к такой же пышной спинке,
    с гримаской заждалась.
Иерихонские ещё не взвыли трубы,
ещё не сплюснуты их мундштуками губы,
улитки медные, они в чехлах сейчас.

На крупных лацканах и клапане кармана
эдемской флорою расшитого кафтана
акант парчовый стар.
Мне кажется — я не вчера родился,
к тебе приблизился — и перевоплотился
    в морозный пар.

Угль в крепостном аду — скрипичной канифоли
    янтарные куски.
Служенье сладостно, а не избыток воли.
Свободолюбцы-то и запороли
и сжали кулаки...
Кто слышит музыку не там, где врут крамольно
истцы в поту,
    с того довольно
    в минуту ту.

III

Ещё в Останкино не зажигали свечи,
но окна-зеркала блестели, ибо вечер
от середины дня.
Расчехлена труба гобоя голубая,
и барабанная музыка гробовая
приветствует меня.

Приковылял медведь на снежную поляну,
не он ли на ухо и наступил тем спьяну,
кто иерархию раскатывает вширь?
Окститесь, гаврики! Не рубит же румяный
свой сук снегирь.

Найдётся ль дирижер, который вас остудит?
По снегу в туфельках попрыгает — и будет
в батистовый платок высмаркивать катар.
...Мне кажется — ты не вчера родилась,
ко мне приблизилась — и перевоплотилась
в морозный пар.

Пока не поздно,
насуплюсь грозно,
но как смятенному не уступить смычку,
когда морозно,
аккомпанировать товарищу сверчку?

Музы́ки рыцари — мы те же полиглоты,
что и покойники... И нет иной заботы
у нас давно,
как видеть небеса в плафонной дымке сладкой.
А под лопаткой
дощато дно.
В пенатах прибранных хозяйничают лары.
Как трудно и в версте от дома после кары
узнать своих.
И треуголками, надвинутыми на лоб,
мы защищаемся от вьюги свистких жалоб,
ударных грохота и взвыва духовых.

31.XII.1986

* * *

Наконец-то светла
ночь от снега — как было когда-то!
В стольном граде Петра,
где и страшно и свято,
помнишь, у фонарей
от метро мне рукой помахала?
Полыхал эмпирей
в коммуналке того ареала,
где ужо собрались
на паях почитать декаденты
ну и — поднабрались,
а менты ворвались
проверять документы.

Проскользнув в коридор,
мы бежали чухонской столицей.
Как всегда командор
галопировал вслед меднолицый.
Там в каморке с лепным
потолком и оплывшим огарком
отравляющий дым
табака и — последним подарком
— сладкий шепот: "забудь",

долгий трёп на задворках Европы,
с тёмной крапиной грудь
и семитская грусть антилопы.
Душу мог обрести
потерявший её с полуслова
— столько в тонкой кости
твоей холода было и зова.

Знать, надир и зенит
на оси поменялись местами.
Лезет лёд на гранит
под разъятыми на ночь мостами.
И блуждает спираль
вьюги; если пустыня — Расея,
дорогая, едва ль
дозовёмся теперь Моисея,
мимо сфинксов не раз
по косе меж двумя берегами
выводившего нас
— на продутую стрелку ветрами.

28.II.1988

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

А. Спицыной

Одно ловлю я в этом мире:
толкающий струну на лире,
твой выдох на лету.

I

Во мгле, во мгле
и карты старой вереск,
и серый горностай.
Я напишу — ты не поверишь,
но так и знай
у стрельчатого у окошка
в своей норе:
я раскусил, что возле брошки
щелчок средневековой блошки
лишь ход в твоей игре

II

У глобуса отлив моллюска,
он под пятой.
Как гулко выстелен и узко
брус мостовой.
К тебе в покой — при бледном свете
в тревожных облаках,
как гондольер, по блёсткой Лете
вплыву в малиновом берете
с веслом в руках.

III

Убор, зачёс, твои привычки,
    унылый друг,
на лекции в анатомичке
    я вспомнил вдруг.
Ты говоришь: "Любовь нелепа,
    вся жизнь в кругу
комедиантского вертепа.
И я с тобой под сводом склепа
    обняться не смогу".

IV

Что человек! Мешочек сердца,
    наполненный слегка,
что схоже со стручками перца
    издалека.
Пока освобождает гриву
от гребня для забав
любимая, подобна диву,
он выпрямляет перспективу,
    как костоправ.

V

Есть на востоке невеселом,
    где мор да глад,
вкруг обнесенный частоколом
    парадный град.
В парчовом рубище до пяток
    косматый царь
сосёт медвежий мед из кадок
и любит, чтоб блюла порядок
    любая тварь.

VI

Но даже там, где пусты кроны,
поверхность волн тверда,
есть жар Креста и культ Мадонны.
    Не веришь? Да!
И в этот час у аналоя
в воздушном молоке
вот так же блёстко смотрят двое
(как тяжело молиться стоя!)
    — рука в руке.

VII

...А помнишь, как читала древних
    лишь нам двоим?
Дух виноделен из деревни
    и вместе с ним
тяжеловоз копытом клацал
    навстречу нам —
в фургоне ехали паяцы.
И лучше понимался Тацит
под их богемный гам.

VIII

Средь бела дня огонь из тучи
    и мощный гром
над пирогом навозной кучи
    с зеркальным дном.
Что значит — "малые голландцы"?
    Тут в каждом — кряж.
А рядом Фландрия: под глянцем
задастые бабцы с румянцем...
    Вот это вернисаж!

IX

Не пятачки, клыки и скальпы
из лавки мясника,
не ослепительные Альпы
в тиарах ледника,
не бутафорская перчатка
с куском германских царств,
не вшитая в неё свинчатка,
не глист в кишке миропорядка,
не знавшего лекарств,

X

не Львиного удары Сердца
у жарких берегов,
не на крестах далёких тельца
еретиков,
— а просто в слюдяные слитки
спрессован прах.
Ты — по-осеннему — в накидке
с зверьком невиданным и прытким
на ласковых руках.

1981

СКАЖИ, СВИДРИГАЙЛОВСКИЙ СКВОРКА УНЫЛЫЙ

I

Скажи, свидригайловский скворка унылый,
души разночинной анатом,
двум дремлющим сфинксам над северным Нилом
не ты ли приходишься братом?

(Два сфинкса — не ясно, чета или пара
самцов, для решительной схватки
готовых, когда б не пускала гитара
слезу нигилисту в тетрадки.)

Упрятать бы в трюмы египетских тварей,
чтоб мы не казались рабами
себе же — покуда картавый татарин
не хряпнул нас медными лбами!

Но поздно. И в горле застрявшая корка,
и в спину летящая скалка...
Петропольский скворка — скрипучая створка
над миром,
которому Бога не жалко.

II

В кренящейся башне ночные раденья,
кадрёж Коломбины с порога
для нас вожделеннее лжевдохновенья
голодного позднего Блока.

Да только одним они мазаны миром,
одна в них мерцает монада.
С полуночным бледно-зелёным эфиром
они породнились... Не надо,

не надо ни пышной Италии в храме,
ни голого мрамора в чаще,
ни неба такого, как в "Пиковой даме", —
всё это мертво и щемяще.

(Мы долго гуляли с тобою у стрелки
и оба не шли на уступки.
И пялились жадно советские клерки
на рубчик вельветовой юбки.)

...И спорили с Лазарем пятнами тлена
кумиры в садах и на крыше.
И алчно взмывала балтийская пена
всё выше,
и выше,
и выше.

1979

ПОСВЯЩАЕТСЯ РОДИНЕ

1

Под вьюжной крупой голубиной
и тонкою тогой — плеча,
покрытые свежей патиной,
родителя и палача.
Мы сироты власти Петровой,
что ласковой кажется нам.
Под стенами крепости новой
— навстречу торосам и льдам
он терпит едва на престоле
одряблой кагал татарвы,
всё цепче держа на приколе
летучее устье Невы.

2

У заветных божниц
дует ветер с границ
и морских, и степных, и таёжных.
Разом холоден он
и горяч испокон,
родич свеч миротворно-тревожных

Византийский орёл
домовину обрёл
в средостенье чухонской столицы.
От морозных борозд
да петропольских звёзд
зелено оперенье царицы.

Чем беззвучнее наш
полуплач-полумарш,
заглушённый гудками с вокзала
и *последним прости*,
тем обильней цвести
на погостах черемуха стала.

У покоев уют
капитанских кают
отнимает хлыстовская дуля.
И симбирский шакал.
И уральский подвал.
И свинцовая лёгкая пуля.

3

Сердце — щёлк да щёлк.
Борода у щёк
на морозе сохнет.
Матросни штычок
прободал бочок.
Гражданин не охнет.

Посвежее весть:
на Шпалерной есть
не бордель — застенок.
Если с пьяных глаз
разменяют нас —
значит, за бесценок.

Потускнела пыль
вдруг галактик иль
не по силам ноша?
Провожая в путь,
согревает грудь,
словно стяг, пороша.

И припомнив вдруг,
как кормил из рук
соловецких чаек,
разожмёшь ладонь...
Над отчизной вонь
боен чрезвычаек.

Пятерней чекист
припечатал лист:
смерть надёжней срока.
СМЕРТЬ СМЕТЛИВЕЙ НАС
и светлее глаз
Александра Блока.

1979, 1991

ГОЛУБЬ

Е. Шварц

Когда в густолиственный паюсный мрак
пикирует голубь — его ли
запустит ли кто-нибудь понову в знак
подвёрстанной к сердцу неволи?

Всё ль белою ночью на рыбьем клею
— на вдруг зачадившие свечи
в зазывно открытую фортку твою,
как к Гойе, слетается нечисть,

которую ты отгоняешь локтём,
спасая строку-паутинку,
точильную искру с трамвайным путем
сводя — и с кровинкой кровинку.

Мы те же бумажные птицы, и нас
Господень проглаживал ноготь.
И нам хохолком доводилось подчас
предгрозие душное трогать.

Последний пропащий почтарь-голубок,
упавший в сирень перед домом,
как я — пересечь не сумевший порог,
усни, оглушаемый громом!

Июнь 1985

* * *

В достоевском Павловске когда-то,
с окунем карась,
на скамье шептались воровато
злой купец и князь.
И нездешние, казалось, силы
здешних мест,
узкотелы и ширококрылы,
прятались окрест.
Не стемнев как следует, светало.
Рысаков и кляч
не видать на трассе от *воксала*
до шале и дач.
Скоро, скоро огласит вожатый
трелями перрон,
приглашая тряский небогатый
занимать вагон.
И еще милее неживая
станет, чем досель.
Запеклась под грудью ножевая
маленькая щель.

Вихорь времени едва шевелит
мой вихор.

Сердце жмётся и ещё не верит
до сих пор,
что вполне внезапная разлука
с тем со всем
дорогим, не самым высшим кругом —
насовсем.
И шепчу, прикрыв ладонью книгу
тёплую сейчас:
Отче — Фёдору архистратигу
— помолись за нас.
Что-то есть в припадочной России,
если не святой,
сродное твоей эпилепсии,
Дух одной шестой.
Там пространство белыми ночами
зелено в тени,
словно оперенье за плечами.
Помяни!

1988

* * *

И. Б.

Систола — сжатие полунапрасное
гонит из красного красное в красное.
...Словно шинель на шелку,
льнёт, простужая, имперское — к женскому
около Спаса, что к Преображенскому
так и приписан полку.

Мы ль предадим наши ночи болотные,
склепы гранитные, гульбища ротные,
плацы, где сякнут ветра,
понову копоть вдыхая угарную,
мы ль не помянем сухую столярную
стружку владыки Петра?

Мы ль... Но забудь эту присказку мыльную.
Ты ль позабудешь про сторону тыльную
дерева, где вороньё?
Нам умирать на Васильевской линии!
— отогревая тряпицами в инее
певчее зево своё.

Ведь не тобою ли прямо обещаны
были асфальта сетчатые трещины,
    переведённые с карт?
Но воевавший за слово сипатое,
вновь подниму я лицо бородатое
    на посрамлённый штандарт.

Белое — это полоски под кольцами,
это когда пацаны добровольцами,
    это когда никого
нет пред открытыми Богу божницами,
ибо все белые с белыми лицами
    за спину стали Его.

Синее — это когда пригнетаются
беженцы к берегу, бредят и маются
    у византийских камней,
годных ещё на могильник в Галлиполи,
синее — наше, а птицы мы, рыбы ли
    — это не важно, ей-ей.

Друг, я спрошу тебя самое главное:
ежели прежнее всё — неисправное,
    что же нас ждёт впереди?
Скажешь, мол, дело известное, ясное.
Красное — это из красного в красное
    в стынущей честно груди.

1986

В РАССЕЯННЫХ ПОИСКАХ РАЯ...

За взмывшею с дерева стаей
мы вышли с чужого следа —
к нарышкинской церкви, не зная,
что там отпевали тогда.
Таинственное свеченье
вместительных тёмных лампад

сродни огонькам, по теченью
сносимым в соседний посад,
по тяблам алтарным кочуя,
тускнело вдали,
как будто мы в реку ночную
по самое горло вошли.

Сородичи тоже покорно
неплотно стояли кольцом
над новопреставленным в чёрном
с покорным бесполым лицом.
Катилась капель, обжигая,
на пальцы со свеч.

В рассеянных поисках рая,
гнезда родового сиречь,
когда мы на кладбище старом
гуськом миновали кресты,
имён не читая, недаром
невольно поёжилась ты.

1990

VIII

ПРОЩАНИЕ

Кайзер на лошади,
не потучневший от тряски,
скачет по площади
с птичьим помётом на каске.
В ближнем валежнике
разгоряченной чащобы
тают подснежники,
поголубев от хворобы.
Мы поднимаемся
в гору, покатую в целом,
и повстречаемся
с кедром и яблоней в белом,
стало быть, суженой.
То-то же звон-лютеранин,
словно разбуженный,
движется дальше окраин.

Около облака
не позабыть болевое
в крепости Кобурга
наше прощанье немое.

Сколь центробежная
центростремительна сила
каждого здешнего
над головою стропила.
Спросим у особи
старого ястреба: тем ли
гребнем расчёсаны
эти холёные земли.
Что за зазывная
не отпускает дорога,
тянет — обрывная
у земляного порога,
то бишь болотины
кладбища средь мелколесья
где-то на родине
— с выносом из поднебесья.

30.IV.1990

ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА БАТЮШКОВА

На Родину, в сей терем древний.

Б.

I

Гейлесбергский герой, италийский младенец
    под прилуцким снежком.
Меж раскисших лаптей и резных полотенец
треуголка его пирожком
не казалась ли странной, спросить по секрету,
    или не замечал,
прозревая под тиной пахучею — Лету
    и всходя на причал.
По сравнению с этим и на поединке
    говорят по душам.
Хоть зачесывал волосы всё по старинке
    от затылка к вискам,
но, должно быть, не зря при скончании века
    золотого, досуг
коротая в мольбе, словно Вологда — Мекка,
вспоминал он роскошного Мельхиседека
    у медвежьих лачуг.
Ибо солнце пурпурово, небо имбирно
    при рассветной косьбе.
Ибо тёмным червям и на севере жирно.
Ибо наша словесная вязь неотмирна
    и сама по себе.

II

Столько переплелось
снов и судеб, что даже
если б и не нашлось
что, то об этой краже
не горевал бы я
— и без того довольно.
Родина ты моя
вольно или невольно.

Где с требухой пирог
царь завернул в газету,
точно единорог,
бриг уплывает в Лету,
падает стружка в гать,
не утолив печали.
Это ли благодать
та, о какой мечтали?

.....

Хоть под землёй лежит
множество порешённых
и обернулся скит
домом умалишённых,
хоть упаду и сам,
будто единоличник
в больше ненужный хлам,
в кислый Шексны брусничник,

всё же пока несут
ноги и горла дышат,
может быть, нас спасут
те — кто об этом слышат.
Кто возводил сей дом,
ставил кресты на главы
и пересохшим ртом
пел ради Божьей славы.

III

От иван-чая в глазах лилово
у мариинских глухих куртин,
словно земля зазывает снова
Батюшкова: Константин! Константин!

Но с виноградников южной речи
он, и не спятив, вернулся б сам
в Вологду, чьи баснословней плечи
и сарафанней открыты нам.

Так не надейся, что все пропали
те, кого доводилось знать,
и не пиши, чтобы впредь не ждали:
алчные, не перестанем ждать.

Ибо у русских одна дорога:
к дому — что курицам на насест.
Ты, Шексна, или ты, Молога...
И никого — кроме нас — окрест.

Тиной пахучей цветёт канава
с бревнами шлюза — вот водопой.
Неотменяемо крепостное право
слова над пятящейся душой.

1979

* * *

Глазницы Козлова-слепца
под рябью, что два озерца,
когда непогодит в июне.
И Батюшков весел с лица,
держаться решил до конца,
хоть мреет от ужаса втуне

в своей вологодской норе,
когда за окном в серебре
в ещё не просохшей лагуне

сквозь чащу прибрежных ракит
гороховый шут соловейка
кукушке лесной говорит
(рука, окрапивясь, горит),
что жизнь человека — копейка.

Рассохшийся русский ампир:
чернильница, книги, кумир
с мыском выпирающим срама.

Как важно на горе врагу
успеть умереть на бегу
среди бородинского хлама!

1978, 1985

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АРХАНГЕЛЬСКОМ

Плашки листьев вморожены в лёд,
чей разлив бесприданницы-ивы
перейти собираются вброд,
наклоняя покорные гривы.

Пробивается свет из окон
к бледногубым голубкам Ротари:
куртизанки ли видели сон,
или фрейлины в жмурки играли

— но пугала своей белизной
манекенная грудь у корсажа,
чей атлас отливал голубой
чернотой, что холодная сажа.

И косынок щекочущий газ
обегал обнажённые плечи...
Ничего не осталось у нас,
кроме щиплющей влаги у глаз,
кроме отзвуков собственной речи.

Знать, само провидение, рок
в перекошенных тапках с тесьмою
предназначили этот чертог
для прощальной размолвки с тобою.

1976, 1992

В МАРТЕ 1965 ГОДА...

Еще стволы морозцем лачило
в лжебелокаменнодвуликой,
а уж капель грачей дурачила
и отливала голубикой.
По площадям блестели отмели,
еще не кончились занятья,
еще дельцы сердец не отняли
у храмин и хором Зарядья.

Лишь за зубцами в дымке рисовой
подложно золотили главы
и в отруби Никите Лысому
не смели подмешать отравы,
дозволив корешу опальному
в удушливом хлеву эпохи
потыкаться по погребальному
в последние живые крохи.

Бывали оттепели с просинью,
видениями, сильным жаром.
И перепутав с поздней осенью
весну, священную недаром,
вдруг залегала в гололедицу
на два десятилетья в спячку
страна, что старая медведица,
заспать смертельную болячку.

...А под Москвой за речкой снежною
и пыжиковым перелеском
покрылись щёки краской нежною,
глаза горели карим блеском.
Ты не была ещё единственной,
но начинало так казаться.
Пустот души твоей таинственной
ещё никто не смел касаться.

1978, 1992

* * *

В Мекку красных пришел я ужаленным ими юнцом,
в лабиринтах её стал с годами похож на калику
и заросшим лицом,
и пустою мошной — поелику,
меж татарских зубцов и начищенных римских
убранств
вразумлен и отравлен бензиновой вонью,
этот гордиев узел имперских пространств
не могу разрубить онемевшей ладонью.

В Мекке красных, уставших жиреть и леветь,
конспирируя норов,
избегая и впредь
под привычной балдой разговоров,
так и буду скакать на брусчатом торце площадей,
на скрещенье бульваров с деревьями в виде обрубка,
чтобы видели все:
я нахохленный злой воробей
и ни пяди снежку уступать не намерен, голубка!

1976, 1992

МАНЕЖ

Поздно, а тянет ещё пошататься.
С гением ищет душа поквитаться
сих приснопамятных мест,
с кем-нибудь свидеться, то бишь расстаться,
благо пустынно окрест.

Этой дорожкой в минувшие лета
кляча тянула угрюмого Фета,
приопускавшего зонт,
и, говорят, обплевалась карета
у казаковских ротонд.

Ты не поверишь, какой я невежа,
даром, что в жёлтом квартале Манежа...
Веки прикрою, и вмиг —
отрок пылающий, отрок неправый
был под хмельком, под гебистской облавой
шпагоглотателем книг!

Юная жажда испепелиться,
сгинуть, исчезнуть, в ничто превратиться
мною владела тогда
и — помогала внезапно влюбиться,
охолодеть без труда.

Свежей листвы апельсинные корки
вновь завалили скамьи и задворки.
Рвотное передовиц.
И загорелых ещё после лета
щебет подруг на крыльце факультета,
грешниц, безбожниц, девиц.

Наши тогдашние тайные были
законспектировать мы позабыли,
пылко сорвав семинар.
Только ногтей озерца с перламутром
грезятся, мне протянувшие утром
дачной антоновки шар.

...Там за решётками — призраки сада.
Как хорошо, что надёжна ограда
и балахоны зимы:
в йодистом свете Охотного ряда
недосягаемы мы.

1976, 1992

ВОЗВРАЩЕНИЕ

...На шипастые кроны уселись грачи.
Боровицкий кирпич голубеет в ночи.
Перекрёстки-сычи.

Тишину заушающий скрежет и свист,
свежевымытой станции гипсовый лист,
жухлый мрамор скалист.

Задремал пассажир, точно хочет сказать:
"Скоро горе ты ложками будешь черпать,
в страхе руки сжимать".

Потаённая воля! Чужая судьба!
Пустотелых вагонов гремят короба.
Чу, гремят короба.

Полно, братец, шутить.
Поднимаю лицо.
С радиальной маньяком бегу на кольцо.
Мне-то что, я сегодня опять в барыше —
полчаса, и считай, что я дома уже.

12.III.1977

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СОПРОВСКОГО

Для московских ребят заготовлена властью присяга,
да не знает никто — где припрятана эта бумага.
Но недаром в испуге тетради разбухли, тонки,
и ночных папиросок в квартирах снуют колонки.
В глубине этажей
натянулись упругие сети,
потому шепотком окликаем подруг на рассвете,
погорельцами бродим тишком по арбатской золе,
и пустые бутылки, что кегли, гремят на столе.
У московских ребят
прилетевшие с Севера книги
и покрытая патиной соль соловецкой вериги,
а крещеные в тридцать — повесили крестик на грудь.
Так давайте скорей собираться в таинственный путь.

Полно, братья, ходить нам в товарищах
и невидимках.
Шлюзы крошевом льда
переполнены в матушках Химках.
Побежала по соснам зазывная серая рябь,
и вороний галдеж подбивает ограбленных: грабь.

Никого на шоссе, кольцевых завихрениях... или
сорвались с перекрёстков последние автомобили.
Копи, прииски свалок, распадки бесхозных дворов
и — миров.

У пяти пристаней
укрепляются прочные снасти,
чтобы в их полотне трепетало упрямо ненастье,
чтобы в трюмах столицы, не жалуясь на тесноту,
уносилась душа
по блаженным волнам
в пустоту.

1992

ПО ОСЕНИ ВЕТЕР СТОУСТЫЙ...

По осени ветер стоустый,
трубя в онемевший рожок,
с небес галактический тусклый
сдувает тишком порошок.
В курганах бесхозного сора,
снежке, согревающем персть,
в весёлых глазах мародера
нездешняя чудится весть.
И в нашем отечестве тварном
всё криминогеннее ад
бездонный — под светом фонарным
у самых церковных оград.

1991

* * *

В захолустье столичном, квартале его госпитальном
мимикрия ампира осенней порой минимальна.
Потускневшая охра да золота бледность синичья,
словно свежая кровь, господа, у былого величья.
На курганы отбросов под гаснущими небесами
наседает черней воронье на паях с сизарями.
Кто хранитель огня, тот сегодня один и хозяин.
Уж до судного дня не задобрить имперских окраин.
Заушают оттуда имамы, отцы, господари
нас, чьи души белы безнадежно от выхлопов гари.
Надо б воздуха в грудь было больше набрать
для отваги
перед тем как нырнуть, как нырнуть, присягая,
под стяги
— эти неводы, верши, трёхцветные крепкие снасти
той умершей, а вдруг воскресающей — власти.
То ли солнце в зенит закатилось из серого дыма
иль петарда летит — к стенам Нового Ерусалима.

Октябрь 1991

ГОЛОС ИЗ ХОРА

Спросится с нас сторицей:
смерть, где твоё жало?
Небо над всей столицей,
как молоко, сбежало.

Лишь золотые тени
осени — Божья скрепа
в гаснущей ойкумене
гибнущего совдепа.

По облетевшей куще,
хлопьям её кулисы,
не обойти бегущей
по тротуару крысы.

Теплятся наши страхи
знобкие в гетто блочных.
Тоже и страсти-птахи
требуют жертв оброчных.

Все мы — тельцы и девы,
овны и скорпионы,
пившие для сугреву
по подворотням зоны,

перед вторым потопом
ныне жезлом железным,
чую, гонимы скопом
в новый эон над бездной.

В черные дни, на ощупь
узнанные отныне,
жертвеннее и проще
милостыня — Святыне.

16.XI.1991

ПОД СНЕГОМ ТУСКЛЫМ, СКУДНЫМ...

Под снегом тусклым, скудным
первопрестольный град.
Днём подступившим судным
чреват его распад.
На тёмной, отсыревшей
толпе, с рабочих мест
вдруг снявшейся, нездешний
уже заметен крест.

Но в переулках узких
доныне не погас
тот серый свет из русских
чуть воспалённых глаз.
И у щербатой кладки
запомнил навсегда
я маленькой перчатки
пожатье в холода.

Москва, ты привечала
среди своих калек
меня, когда серчала.
Почто твой гнев поблек?
Кто дворницкой лопатой
неведомо кому
расчистил путь покатый
к престолу твоему?

...Напротив бакалеи,
ещё бедней, чем встарь,
и вырытой траншеи
нахохленный сизарь
о падаль клювик точит,
как бы в воинственной
любви признаться хочет
к тебе, единственной.

Январь 1990

ПОМИНАЛЬНОЕ

Всё же есть тепло в нас
и в бешеной стуже вьюг,
потому что "Бог наш
есть огнь поядающий."

А.Величанский

Бог наш
— огнь поядающий
в бешеной стуже вьюг.
Ныне об этом знающий
не понаслышке друг
в виды видавшем свитере
отвоевался на
весях Москвы и Питера
сумеречных
сполна.

Мы продвигались в замети,
грозный чей посвист тих,
отогревались в памяти
первых подруг своих.
Дальних приходов
паперти,
их золотой запас
смолоду были заперты
для большинства из нас.
Неутомимо сбитые
наши слова в столбцы —
были тогда
несытые
алчущие птенцы:
им приходилось скармливать
всю свою кровь уже,

вместо того чтоб скапливать
впрок
Божий страх в душе.

Время — вода проточная
в вымерших берегах.
Честная речь оброчная
и огоньки
в домах
блочной глухой совдепии
плюс зеленца ольхи
в нищенском благолепии
— это твои стихи.
То бишь твое служение
сродственно средь пустот
с тучами,
на снижение
шедшими круглый год,
с птицами,
зарябившими
на небе в глубине,
на землю обронившими
в сером
перо
огне...

Как твой английский, греческий,
брат с баснословных лет,
лёгший в предел отеческий,
словно в сырой
подклет?
Вправленный в средостение
сей мотыльковый миг —
миг твоего успения
жизни равновелик.

26.II.1991

* * *

(в осень)

1

...Но всё появляется чаще
младенчик в покоях Бориса.

И осени ржавая чаща
с висюльками барбариса
заглядывает в оконце.
Усекновенно солнце.

2

Из Польши Дмитрий подменный
возьмет государеву дочку.
С девической шеи нетленной
сорвет, распиная, цепочку.

Прими ж страстотерпицы венчик!
Под новозаветной рогожей
не крест на груди — а бубенчик
малиновый и скоморошний.

Кайлом ледяную могилу
осенние выдолбят вьюги.
Лежи там одна через силу,
скрестив лебединые руки.

Мы сами себя и подмяли,
мы сами себя и отпели.
На мягкое жёсткое стлали.
Ладони над омутом грели.

Так падай шатром безопорным
безродное царство Бориса,
где ржавое смешано с чёрным
и красным кустом барбариса!

3

Благовестят в Посаде:
обретены нетленны
мощи в его ограде
мученицы-царевны.

Даром взошла на ложе
ухаря Самозванца.
Стала ещё пригоже
мёртвая, без румянца.

...Сядет душа на ветку,
где, торопя годину,
залил закат равнину,
словно вином салфетку

в Лавре с её ковчегом,
трапезною палатой,
чей виноград под снегом
не расклевать пернатым.

Спелая кисть послаще
Сарой и Авраамом
срезана в здешней чаще
с плачем о том же самом.

Родину ниоткуда
как не любить до крику?
Вот она, наше чудо
с тенью скорбей по лику,

с голодом, грабежами,
воронами над кручей.
С кухонными ножами
маленький царь в падучей.

В северном Риме диком,
где по ночам не спится,
не поминай нас лихом,
Ксения-голубица!

1977, 1992

* * *

В отечестве перед распадом
взамен сердец
сосредоточился в лампадах
его багрец.
И помнит изморозь в окопе,
вернее, соль земли,
про галактические копи
свои вдали...

Ведь даже атомы в границах
трущоб-пенат
вдруг преосуществились, мнится,
поверх оград
в заряд шрапнели,
накрывшей цель.
И страшно заглянуть в немые колыбели
родных земель.

До судного недолго часа
уже огням
лепиться у иконостаса,
приосвещая нам,
что ставит грозную заграду,
врачуя и целя,
гражданской смуте бесноватой
рука Спасителя.

* * *

Каким Иоаннам, Биронам
и Стенькам поклонимся мы,
провидит, должно быть, ворона,
игуменья здешней зимы,
раз каркает властно над нами:
мол, дети, о чём разговор?
И красными сосны стволами
нас манят в кладбищенский бор...

Всевышний, прости наши до́лги.
Прощаем и мы должникам
— в верховьях отравленной Волги
клубящимся облакам.
Скудны по-евангельски брашна,
и тленна скудельная нить.
Как стало таинственно, страшно
и, в общем, невесело жить.

Усопшие взяты измором,
кто водкой, кто общей бедой.
Хлам старых венков за забором,
пропитанный снежной водой:
воск роз, посеревший от ветра,
унылый слежавшийся сор
— как будто распахнуты недра
отечества всем на позор.

Ноябрь 1990

* * *

Многозвёздчатая, неимущая,
приютившая нас задарма,
неизбывно на убыль идущая
васильковая тьма.
Будет время в пространстве накатанном,
что разверзлось вплотную к стеклу,
погибая, жалеть о захватанном
зипунишке в медвежьем углу.

Наши судьбы вмещают невместное:
потупляя глаза,
сотвори скорей знаменье крестное,
если вдруг примерещится за
амбразурами дачного домика,
что встаёт на пути,
тень дельца теневой экономики
во плоти.

Небеса с истребителя росчерком.
И за давностью лет
я и сам оказался подпольщиком,
появившимся только на свет
знаменитого сыском отечества.
Ибо благовест издали вдруг
утишает в душе опрометчиво
и мятеж и испуг.

...Где над вечным покоем униженным
на краю покровца не поблёк
с материнским умением вышитый
василёк,
обнадёжит мольба, что колодники,
серый конгломерат лагерей
— нынче наши заступники, сродники,
сопричастники у алтарей.

1991

* * *

Когда роковая блестит на
дневном небосклоне звезда,
где столь бескорыстно, безбытно
ты вить не спешила гнезда,
платок не вмещает убогий
разброс твоих косм золотых
и кисть тяжела от немногих
заветных колец родовых.

Недаром ты в силе и праве
в последние впрямь времена
читать в просквожённой дубраве
напутствия и имена
давно погребённых счастливцев.
Ну, кто из них уговорил
вдруг с места сорваться синицу,
нахлебницу здешних могил?

Туземцы при этом режиме,
мы сделали всё, что могли:
на ощупь в отеческом дыме
навстречу погибели шли
и слабые силы копили
для мести какой, может быть,
но вдруг обречённо открыли,
что нечем и некому мстить.

...С приходом над дрёмным простором,
где в детстве крестили тебя,
и тамошним аввою в створах
таинственного алтаря,
землёй обескровленной нашей
со льдом иссякающих рек
— мы связаны общею чашей
и общей просфорой навек.

27.XII.1990

* * *

Ветер ерошит зелёное
под раскалённым пятном
солнца, не двигая оное,
— в небытие за окном.
Но не пасует безбытное
вместе с беспутным моим
разом простое и скрытное
сердце твоё перед ним.

Иль луговина не вымерла,
в чьих колокольчиках есть
от Соловьева Владимира
заупокойная весть?
Или в по-новой озвученной
старой руине сейчас
на крестовине замученный
ждёт прихожанина Спас?

Впрочем, когда тут от нечего
делать идут по пятам
и погибает отечество,
до воскресенья ли нам?
И над зазывною пропастью
с первым снежком в бороде
поздно уж вёсельной лопастью,
бодрствуя, бить по воде...

С нами емельки рогожины
вместо покойной родни.
Нашей слезой приумножены
сторожевые огни
в стане свечном перед ликами.
Стало быть, нынче в чести
в нашем народе великая
мысль о *последнем прости*.

Октябрь 1990

* * *

Настигает в единственный
день какой ни на есть
из России таинственной
долгожданная весть.

Это перистый йодистый
блеск ночной на торцах,
драгоценный породистый
снег наследный в садах,
перекрёстные радуги
в полукружьях окон,
валаамского с Ладоги
благовестия звон,
исполинские ветоши
и марлёвки хвои
слышно шепчут об этом же,
что и губы мои,

и под коркой течение,
размывая мазут
— притекать в ополчение
на венец, на мучение

добровольцев зовут.

1981

* * *

Признаёшь ли, Отечество, сына
после всех годовщин?
Затянула лицо паутина,
задубев на морозе, морщин.
И Блаженный сквозь снежную осыпь
в персиянских тюрбанах своих
на откосе,
словно славное воинство, тих.

Человеки
те и те, и поди разреши:
где иовы-калеки,
где осклабленные алкаши,
вновь родных подворотен
отстоявшие каждую пядь.
Нам со дна преисподней
с четверенек неловко вставать.

Расставаясь с Украйной,
пошатнулся рукастый репей,
сей дозорный бескрайних
отложившихся волн и степей.
Родовую землицу
у каких пепелищных огней,
аки хищную птицу,
нам отпаивать кровью своей?

1992

* * *

Дарье

Миллиметровая стружка
месяца, словно с крыла
пёрышко, в стужу
раскалена добела.
Если б не чёрные рядом
дыры в слепящем снегу,
стало бы новым Царьградом
больше на том берегу.

Плакала там бы над воском
жарким Пречистая,
чья цельбоносная слёзка
чуть маслянистая.

Месяц один впотьмах
перебивается.
Впрок воронье в ветвях
преумножается.

Где они — отклик сыновий,
верность дочерняя...
Луковки русских зимовий —
жертва вечерняя.

1989

* * *

От лап раскалённого клёна во мраке
    червоннее Русь.
От жизни во чреве её, что в бараке,
    не переметнусь.

Её берега особливей и ближе,
    колючей жнивьё.
Работая вёслами тише и тише,
    я слышу её.

О как в нищете ты, родная, упряма.
    Но зримей всего
на месте снесённого бесами храма
    я вижу его.

И там, где, пожалуй что, кровью залейся
    невинной зазря,
становится жалко и красноармейца,
    не только царя.

Всё самое страшное, самое злое
    ещё впереди.
Ведь, глядя в грядущее, видишь былое,
    а шепчешь: гряди!

Вмещает и даль с васильками и рожью,
    и рощу с пыльцой позолот
тот с самою кроткою Матерью Божьей
    родительский тусклый киот.

14.X.1991

* * *

Отцу Ярославу

Необронённое золото
заворожённых берёз
ярче — под небом распоротым,
словно алмазом, в мороз
рыхлой межой истребителя,
схожею с санным путём
к дальней обители
северным меркнущим днём.

На зиму кроны не сброшены,
не осыпаясь, оне
все целиком заморожены
в гибнущей с нами стране.
И за слободкой заречною
ветер, входящий в посад,
в дни скоротечные
по-херувимски пернат.

...Даль в половине четвёртого,
словно ложится с плеча
епитрахили потертая,
ставшая серой парча.

Пристанционный за старою
узкоколейкою дом.
Бог с Авраамом и Сарою
долго беседовал в нём.

Там на далекой окраине
скоро приспеет пора
с ложечки грешных отпаивать
жертвенной кровью с утра.
Вся наша истинно царская
жизнь по углам да одрам,
а не латынь семинарская,
сосредоточилась там.

Декабрь 1992

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог. ПЕСНИ ВЕНСКОГО КАРАНТИНА

Памяти Ходасевича.....5
«Рыжий сеттер меж бурых стволов...».....6
К Германии.....7
«В ветхой трубке дышит невозбранно...».....9
«Сизые тени пихт...».....11
«Неужели однажды одна...».....12
По мотивам Висконти (1 – 2).....13
«В гордости, слабости, страхе и пламени...».....15
Твое молчание(I – III).....17
«Я не понимаю, о чем...».....21
«Из тьмы тутаевской, египетского плена...».....22

I

«Сын, — мужавший за семью замками...».....25
«Королевич в мундирчике синем...».....26
«Старый форт ежевикой...» (1 – 3).....27
«...Не русский снежок заглушает горниста...».....31
«Где каштаны неохватны в струпьях...».....32
«Ростовщичьи кленовые грабки...».....33
Барки.....34
«Над Шатле, куда по осени...».....35
Две открытки.....37
Памяти друга (1 – 3).....38
Пейзаж Сороки.....41
Химера.....42
Согласно геральдике.....43
«В заросшем форту ежевикою спелой...» (I – II).....45
«Заменяли Всевышнего ересью...».....47
«Мне страшно от мысли...».....48

II

«Камлания вьюги...».....51
Платок (1 – 2).....52
«Клеймённый сорок седьмым...».....54
В Альпах.....55
«Догётевой лепки...».....57
«На лотарингских холмах ещё зимно...».....58
«Житуха, жизнь — в её единственном...».....59
Три стихотворения.....60

Весна в Галлии.....62
«Не спеши отрешаться — утешимся...».....63
Под эпиграфом Гёте.....64
«Письма с родины — страшное дело!..».....65
Повторение (I—VII).....66
Потёмкин, Зубов и Орлов (1—5).....70

III

«Дух-голубь отлетел под купол слепоокий...».....77
На Рейне (1—2).....78
«Крылья распущены пегого сокола...».....82
«Как пламя, прикрыта рукой...».....83
«Божье сердце — над Шварцвальдским лесом...».....84
«Мёртвое красное...».....86
Рыцарь.....87
В позднеосенний штиль.....89
Sylvester-87 (1—3).....90
«Шиповник помёрз и пожух...».....92
«Под сводчатым чёрным зонтом...».....93
«В предклиросном светлом крыле...».....94
«Угодник — за толстым стеклом...».....95
В Рождество.....96

IV

Купина палимая.....99
Тогда ещё клевер пах (1—2).....100
Спроси, притворившись немою... (I—III).....102
«Так тучи низки...».....104
Памяти алапаевских узников.....106
Покров в Печорах (1—6).....108

V

«Кроме русских морей я еще полюбил и иные...».....115
Samos (1—2).....116
«Где чайки, идя с виража...».....118
Византия (1—3).....119
«Перекручены либо раскрыты стволы...».....121
Феодора (1—3).....123
«Стяг золотой с грозным орлом...».....128
От истоков до устья.....129
Осень в Скифии.....131
«Оливы Апулии ли...».....132
Тени (I—III).....133

Венеция. Начинает смеркаться (I – IV) 136
«Ступень Палладио, промытая лагуной...» (*вариация*) 139
С доверием к географии (1 – 3) 141

VI

«Повилики прахообразной...» 147
В дороге 148
Импрессионизм 150
Ван Гог 151
«Веселятся капустницы...» 153
В сторону Свана (1 – 2) 154
«Напряженная голубизна...» 156
Metamorphosis 157
Перед зеркалом 159
Осень-39 (1 – 3) 160
Чёрный день 164
Британские стансы (I – XIII) 165
«На обрыве над массой морской...» 170
«На покатом холме, за которым родился...» 172
Диптих 174
Люцерн 177
Лигейя 179
«Греясь в бесснежное олово...» 181
Вдруг альпийские гряды зажглись (I – III) 182
Подмалёвок для Кранаха 184
Ангел 186
«С серым томом Генри Джеймса...» 187
«Кладу на озерную зыбь ладонь...» 189

VII

С юга на север (1 – 3) 193
«На родной земле...» 196
Памяти детства (1 – 2) 197
«Твердокаменный грецкий орех...» 200
«Розовые гребни колышет...» 201
«В алом, готовом осыпаться вскорости...» (I – III) 203
Охота 205
Если ветер сырой 206
Как по лётному полю 207
Птица 208
Возвращение 210
Земля (1 – 2) 212
Памяти Е.С.Граматинской 215

«Мальчиком суриковским за ссыльным...» 216
«Где-то на рубежах синевы...» 218
Ивы 220
«В кассе лимитная бронь...» 222
«Солнце в воздухе вешнему верное...» 223
Судьба стиха — миродержавная... 224
Sarabande (I – III) 225
«Наконец-то светла ночь...» 228
Картинки с выставки (I – X) 230
Скажи, свидригайловский скворка унылый (I – II) 234
Посвящается родине (1 – 3) 236
Голубь 239
«В достоевском Павловске когда-то...» 240
«Систола — сжатие полунапрасное...» 242
«В рассеянных поисках рая...» 244

VIII

Прощание 247
Памяти Константина Батюшкова (I – III) 249
«Глазницы Козлова-слепца...» 252
Воспоминание об Архангельском 253
В марте 1965 года... 254
«В Мекку красных...» 255
Манеж 256
Возвращение 258
Памяти Александра Сопровского 259
По осени ветер стоустый 261
«В захолустье столичном...» 262
Голос из хора 263
«Под снегом тусклым, скудным...» 264
Поминальное 266
В осень (1 – 3) 268
«В отечестве перед распадом...» 271
«Каким Иоаннам, Биронам...» 272
«Многозвездчатая, неимущая...» 273
«Когда роковая блестит...» 275
«Ветер ерошит зеленое...» 277
«Настигает в единственный...» 278
«Признаёшь ли, Отечество, сына...» 279
«Миллиметровая стружка...» 280
«От лап раскаленного клена во мраке...» 281
«Необроненное золото...» 282

Юрий Кублановский

ЧУЖБИННОЕ

Стихотворения

Редактор *И. Шалаева*
Корректор *В. Антонова*
Ответственный за выпуск *Л. Цветкова*
Оригинал-макет подготовлен агентством "ПАН"

Сдано в набор 1.04.93
Подписано к печати 27.05.93
Формат 84x108 1/32
Печать офсетная
Гарнитура "Петербург"
Усл. печ. л. 15,12
Усл. кр.-отт. 15,52
Уч.-изд. л. 8,24
Тираж 4500 экз.
Цена договорная
Заказ 87

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
"Московский рабочий".
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар,8.
Издательство агентства "ПАН"
103012, Москва, Богоявленский пр., 3, стр.4

Напечатано при содействии В. И. Рябого и издательства
"Рыбинское подворье" в Рыбинском Доме печати
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8

Признаёшь ли, Отечество, сына
после всех годовщин?
Затянула лицо паутина,
задубев на морозе, морщин.
И Блаженный сквозь снежную осыпь
в персиянских тюрбанах своих
на откосе,
словно славное воинство, тих...